

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал

Том 33
2017

г. Харьков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем:
e-mail: editor2016@ukr.net
<http://slvn.org/>

От редакции

«Усе те не наше, що нас покидає...»

Вот мы и подошли к цифре 33. Манящий космос этой цифры завораживал многих из нас: кто-то боялся «возраста Христа», кто-то серьёзно готовился к встрече с ним (возрастом), у кого-то воспоминания приятные, кто-то не хочет даже думать о нем (юбилее)...

Мы же — редакция — рады, что выпускаем для вас, дорогие читатели, очередной номер вашего любимого литературного журнала. Вы с нами — и это не может не радовать! Впору повторить вслед за земляком Г.Сковородой «Усе те не наше, що нас покидає»...

Чем порадуем? Ну, во-первых, как всегда, хорошей подборкой поэзии. В «Славянине» №32 был опубликован роман Игоря Павлюка «Выращивание алмазов». Судя по откликам, он вызвал разные эмоции, но главное в том, что — вызвал! Для текущего номера Римма Катаева подготовила подборку его поэзии в переводе на русский. Прочтите — и вы увидите, что поэт Павлюк далеко не хуже прозаика Павлюка. И хотя переводить его было нелегко, на мой взгляд, Р.Катаева блестяще выполнила свою работу!

Солнце красиво в море заходит.

Снятся махновские кони...

Блудно, как ветер, дети природы —

Молимся Богу иконе.

Сергей Шелковый, отметивший недавно юбилей, по просьбе редакции подготовил подборку поэзии — как всегда свежей и таинственно-волнующей:

Жизнь оказалась щедро, странно длинной —

и ныне так же колко, как в семнадцать,

обводом моря, лунною долиной,

тропою кипарисной пробираться...

С удовольствием также представляем вниманию читателей Ольгу Тараненко и Михаила Красикова. Поэзия харьковчанки удивительно лирична и открыта, философски глядя на окружающий мир, она словно идёт «Муравьим шляхом до Сковороды»... Ей вторят землячка Антонина Сытникова: «Такие вот сегодня времена, / Апрель — а всё бело от снега» и земляк Михаил Красиков, который:

«Не сотрапезник сатрапов —

попутчик ветров,

по небесному трапу

взлетаю легко»...

Отдел «Проза» представляет титулованного и перспективного украинского автора из Кременчуга Евгению Дериземля. Она дебютировала в «Славянине» №32 и ее проза так понравилась читателям, что мы, как правило, не публикующие два раза в год одного автора, сделали для нее исключение. И хотя герои Евгении принадлежат к разным социальным слоям и даже временам, но разговаривают одинаковым современным литературным языком, её рассказ «Засватанная» безусловно развлечёт наших постоянных читателей!

А вот зарисовки ещё одного постоянного автора журнала Георгия Кулишкина напротив — полны фольклора. Вполне возможно, что за смыслом каких-то слов читатель вынужден будет обращаться к Википедии или по старинке к Толковому словарю, но редакция сочла возможным утруждать читателя, потому как словарный запас следует расширять. На самом деле, рассказ «Томася» и бывальщина «Жменя» удивительно человечны и жизнеутверждающие...

Переписку с Антоном Лукиным редакция ведёт уже несколько лет. В этом номере — дебют молодого автора. Проза его по-своему тиха, не экстремальна, без интриги, без хитроумно навороченных сюжетов. Да и герои — самые что ни на есть простые люди — из деревни. Как сказал о них наш великий современник (в другом контексте) — соль земли. Но почему же эти «простые люди» заставляют нас задуматься о вечных ценностях, о смысле жизни, о нашем с вами месте в бесконечном круговороте жизни?

В отделе «Литературоведение» читатель, надеемся, найдёт ответ на вопросы, возникшие у него после чтения прозы А. Лукина. Литературный критик Игорь Михайлин в эссе о Д. Писареве «Строевой лес и желуди» показывает, как для него эти символы помогли осмыслить проблему массового и элитарного человека. Желуди — это воплощение масс, большинства. Строевой лес — обозначение для элиты. О соотношении между этими двумя феноменами и рассказывает ведущий отдела «Литературоведение» И. Михайлин.

Редакция довольна проделанной работой — в номере представлена добротная подборка, отражающая современный литературный процесс в его микроскопической капле. Из таких вот капелек, мы надеемся, и наберётся библиотека «Славянина», с которой он, не стыдясь читателя, подойдет к своему, например, 66-му номеру...

Леонид Мачулин

Римма КАТАЕВА

«Не хотел волновать Бога...»

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО ИЗ ИГОРЯ ПАВЛЮКА

* * *

Н.С.Винграновскому

Солнце красиво в море заходит.
Снятся махновские кони...
Блудно, как ветер, дети природы —
Молимся Богу иконе.

Степных родников золотые глубины.
А ласточки всё летают.
И я прислоняюсь к родимой отчизне,
Над мамой — лишь чёрные стаи.

Плахи и фрески. И небо одно у нас.
Казацкая грусть по раю.
А мы, от европ, от азий свободные,
Живём... И — медленно умираем.

Током хрустальным — живая поэзия.
Моря — тот звёздный голос.

Солнце красиво восходит —
Как в сердце лезвие,
Только исходит
Горлом.

Коней махновских полынные крылья.
Волчья роскошь свободы...

Земля Вам небом,
Святая сила,
Вечно — дитя природы.

* * *

Стоял печальный.
Не молился:
Не хотел волновать Бога...

Неужто, доля, такая ты вся —
Дорога, дорога, дорога?

Страстной песок за грудиною
Шумел, как вода подсолённая,
Порезана паутиною,
Обезболена.

И — пусто.
Не слышно музыки.

Лишь «чайки» плывут из «Турции»...

На нервах —
Гордиевы узелки,

Это есть революция.

* * *

Любовь напала по весне —
Как Божья кара.
Писала кровью по вине,
Грустна и кара.

Казалась честной, как огонь,
Гола — как вьюга.
Ей — имени бы моего,
И — вон из круга.

Лепила слово-пластилин
Без рифмы в столбик,

Будто один от всей земли,
Седой тот хлопчик.

Будто от Змея все пошли,
Не от Адама.
Распяты вены — как стволы,
Как телеграмма,

Что надо ехать — но куда?
Вдвоем, от света.

Любовь напала навсегда,
А мы же — к лету...

ГОРОД

Бреду.
Читаю вывески.
Тоска...

Всё знаю я про дух незрячих-зрячих.
Закованная скрытая река
Течёт под городом, так не прозрачно...

«Колбасы», «Ксерокс», «Пресса»,
«Банк», «Кафе»,
«Мобильники», «Компьютеры»,
«Костюмы»...

Иду я одинокий
Под «шафе»...
Как раз настолько,
Чтоб роились думы.

Йодистый вечер.
Мне вопрос долбит:
Рассвет иль сумерки...
Замок, джипы...

Калиновым богатством даль дымит.
Подсолнух фонаря под солнцем так скрипит...

И череда машин, словно коров...
Бугай-трамвай...
Дома как склады сена.

А львица в шляпке... носик... бровь...
И декольте... и талия осины...

На ней задерживаю взгляд я, на кресте
Собора,

На котором чья-то доля.

И полетел... Над городом летел
Куда-то там —
От мистики.
И к воле.

ОСЕНЬ

Нащупаю я этот дождь, как нерв.
Хоть надо мною небо городское.

Куда же мне податься уж теперь?
Ведь не податься вмиг — так не готов я.

Куда же мне податься бы навек?
В любовь — иль в путешествие, иль в славу?

Каких бы вин ни выпил человек,
Да все они — на звездах и на травах.

А в скифских вазах слышны голоса.
На вазах тех — созвездья и соцветья.
Она одна, как ты и я на свете,
Что слушаем ребенка в животе,
Звезду ли в небе, реку иль гитару...
И так несносно жить я захотел,

Все уплативши кровью
И — не даром:

За славу, волю, хату и садок,
Струну, что вяжет пропасть и вершину.

Куда ж мне?

Вернусь я в сказку впрок.
Про казака
И девицу-калину.

ПРО СМЕРТЬ

Все нежнее думаю про смерть.
И она в меня все также верит...
Но вот доля — лишь глаза и шерсть —
Под великим, грустным сердцем зверя.

Я уж с нею так и так, таков...
Ниже моря, да и выше рая.
Словно дни, бегут следы годов,
Только я лишь боль запоминаю.

Я запоминаю чудо-пса:
Он, как совесть, под дверями трется,
Дедовский, родной и старый, сад,
Что гнездом над космосом смеется.

И сиротский праздник без хлебов,
С тем ножом, что месяцем крещённый,
Музыку сердечную без слов,
Смерть врага, без всяческих препонов.

Про меня ж никто и не взгадал...
Все равно, в конец, и мне, малому.

Думаю про смерть. Кругом вода...
Над водою — окна Дома.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УКРАИНЕ—XXI

Грибные дачки, площади, жилища...
А с двух сторон то степь, то леса плоть.
И жили год, седьмое небо, нищи.
Буханка Солнца.
Церковь вглубь растёт.

Полынный привкус песни над курганом,
Базарчиков стихии — «Пиво», «Квас» ...
Тут даже дым с махновского нагана
Вы купите.
И псевдо-«адидас».

Разрушены вконец заводы, фермы...
Вкруг — митинги, как танцы на гробах.
За двое суток — путевой наш термин —
Проехать Украину как бы шлях.

Луганск — Донецк — Изюм и Запорожье...
Софиевка, Джанкой, Житомир, Львов...
Народ — в названиях.
Одно убьешь ты,
Считай, что всю историю подвел.

Давно я путешествую — писакой.
Простор любой — баюкающий час.
Кому-то степь — как будто ложе брака,
Горланил кто-то, сотворяя нас.

Я врос корнями в землю ту по крылья,
В тот свет, где больше блеска, чем тепла.
И оттого в моих стиха та сила,
Что если надо очень, — сила зла.

Да, еду Украиною к себе я,
Как под водою, — сумрачный туман.
Металл пунцовый ветряного неба...
А слова нету. Лишь один обман.

А дни идут — улыбкой журавлиной,
Как зайчики из солнечных костров.
Белеют церкви — божества из глины,
И молнии — корнями тайских снов.

В нас — печенеги, половцы и скифы
С аиром в зататаренных глазах.
Мы любим плоть.
Мы порождаем мифы.
Ветрами нас крестил
Чумацкий Шлях.

Ну отчего мне в хате не сидится?
Уж дым — как дым,
Как синий нерв — рука.
И журавлёнок в небе, и синица...
Идёт наш поезд — как идут века.

Девчонок вижу, словно рыба, голых.
Проста, как песня, осень. И светла.
Белят вороны с профилем монголов,
Чернеют люди с профилем орла.

Сияет небо звёздное, как взорано,
Засеяно по черни золотым.

Проеду Украиною на «скором» я.
А дальше — волны.
Надо уж идти.

* * *

Туманится багрово ртуть зари
В незащищенном небе — словно крылья.
Всё заросло снегами... Декабри...
Днипро заросший... колыбель... могила.

И нет дорог и запахов.
Но вот

Интимный шепот, то ли пули свист.
Кто-то меня в тепло своё ведёт.
Кто-то постель поможет мне страсти.

За горизонтом — цвет босых садов,
И пенятся огнём лихие вина,
Душа танцует... Дед мой молодой...
Ещё начало, а не половина.

А сено пахнет космосом веков,
А космос — океаном окаянным.

Зима... зима... и снега — до зубов...
И новый год... и мы, от счастья пьяны,
Снежинки двигаем из тёплых слов,
Сквозь волосы твои звенят отважно.

Снега...
И нет ни неба, ни земли.

Того мы ждём, что уж сбылось однажды...

СКИФ

Тот гордый скиф, родившийся с конём,
Пораненный замерзшею слезиной
Любимой, что никак не обоймешь
И не обманешь, пьяный всей отчизною.

Тот дикий скиф — живой аристократ —
Нажил и шрамов, и сердечных храмов,
Связав тепло всё ниткою Днепра,
Продолженный сынами, как цунами.

Тот вечный скиф и с плугом, и с мечом...
Седло солёное — азовской рыбой.
Когда-то вдруг и мы себя начнём,
Но скифских коней всё равно не вздыбим.

В зеницах их — и Месяц-пектораль,
Варяг плывёт в те греки через жилы,
В каких звенят и золото, и сталь,
И все мечты с крылами утопились.

Тот скиф родной не знает нас с тобой,
Ни про ацтеков, ни про чьи-то вены.

Он весь — покой.
И только снится бой...
Да спят во мне его шальные гены.

ХРИСТОС

Ветер метро — запахи стыни,
Души вертепные в вечность летят.
Пришел Христос словно в пустыню:
И не распяли...
Над ним посмеялись.
Сели.
Едят.

Власть всё ругают земную, небесную.
Сжались толпы в кулак, в хрипоте.
Христа по спине похлопали честно,
Спросивши — за тех он или за тех...

А Он, Кто устал от всех революций,
Ветку сухую подкинул в огонь
И спросил, как когда-то Варраву:
Как зовутся?

Он плотником был,

И гвозди вбивались
В Его
Ладонь.

Апрель 2017 г.

Георгий КУЛИШКИН

ТОМАСЬКИНО СЧАСТЬЕ

Лучшему другу — жене Тамаре

Когда мама покороче подрезала ей волосы, и их концы улеглись в форме подковки, Валюша, старшенькая, нацелила палец, насмешливо объявив:

— Дочь Мао Цзе Дуна!

С этим Томася спустилась по откидной железной лесенке из их вагончика и, спрыгнув на землю, побрела, понуриив голову, вдоль кочевого городка. Никуда не хотелось глядеть, и она видела лишь свои косолапенько ступающие коричневые туфельки с перепонкой, переставшие быть любимыми после того, как, ремонтируя, к ним приколотили гвоздями толстые кожмитовые подмётки. Несмотря на полностью утраченную нежность к ним, она всё же не смогла не пожалеть, что кожа на носках сбита, и светят слегка взлохмаченные белёдые проплешины.

Заглянув за подвёрнутый полог палатки, где дядя-солдат работает художником, она вошла. На ленте кумача он, накладывая картонный трафарет, ваткой вымакивал белые буквы. Буквы она знала, но слово ещё не сложилось, а угадывать ей не хотелось.

Он улыбнулся, не поворачиваясь. Она тоже улыбнулась, хоть он этого и не видел. Покончив с буквой, он спросил по-приятельски, не ожидая ответа:

— Ну, что?

Она повела неопределённо плечиком и потупилась. Снова увидела сбитые носы туфель и убрала ногу за ногу, пряча один, особенно некрасивый.

— Хочешь, закрасим?

С этажерки, заполненной всяческим рисовательным снаряжением, он снял фанерку, всю в разноцветных ляпах, выдал на неё толстую каплю краски. Сличив её цвет с цве-

том туфель, выдавил ещё одну, посветлее. Кисточка, словно сама собой затанцевала, смешивая и добавляя светлого. Присев, он мазнул по сбитому и отстранился. Цвет подходил. Быстро и без промаха он укладывал краску на повреждённое, не затрагивая того, что уцелело. Туфли обновились и словно бы осветились улыбкой, отвечая на её улыбку.

— Посиди, пока просохнет, — сказал он, возвращаясь к своим трафаретам.

Она посидела, но очень недолго. На холсте, поставленном на подрамник в углу, угадывалось что-то знакомое. Она подошла. С незаконченного портрета смотрел, словно выглядывая при игре в прятки, папа. Выписаны внятно были только глаза и светлые папины волосы. Никогда раньше она этого не замечала, но подметил художник... И сказанное Валюшей... И ей вдруг подумалось, что и папа тоже кем-то приходится Мао Цзе Дуну. Она тёмненькая, в маму, а он совсем светлый, но родом из мест, примыкающих к китайской границе. Она много слышала от него о тех краях, но из живых ощущений, с ними связанными, у неё только два вкуса: вкус пельменей и вкус тонких блинов с каймой из ломкой корочки. А там, откуда мама, любят вареники. Она уже выучилась лепить и пельмени, и вареники, и почти уверена, что, если бы доверили печь блины, она бы справилась.

Дома, уже вечером, папа занял половину стола – набивает охотничьи патроны с Валюшей, своей любимицей, во всём от внешности и до замашек неотличимо похожей на мальчишку.

— Томся! — позвал. — А ты?

Она забралась коленками на табурет, зная, что её работа — подавать папе в нужную минуту пыжи. Сосредоточенно следила за папиными руками, чтобы помогать, а не задерживать. И со старательно скрываемой завистью посматривала на старшую, которая пойдёт с папой на охоту. Она не знала, зачем ей туда, но из всего, что ей могло хотеться, больше всего на свете ей хотелось, чтобы её взяли.

— А меня?.. — улучив минуту, шепнула она робким голосом.

— И не думай! — бросила от круглой буржуйки, поставленной в самый центр вагончика, мама, слово которой было первым и окончательным в семье. — Тебя там не доставало! Хва-

тит, что эти обувь изводят!

Поддабриваясь, папа заметил:

— Верусь, а вдруг — дичинка? А?

Распаляясь, мама, сама того не замечая, переходит на слова и «речення» из языка её детства:

— Чого вже мы понаидались, то це вже твоє дичинки! Аж пузо крутыть!

— А в прошлом году — русак? — недоумевают папа.

— В позапрошлом! — уточняет мама, морщась и фыркая на дым из растопки.

— Ну, в поза... Но был!

Хлопнув ради приличия по двери, но не дожидаясь отклика, в вагончик ввалился великан дядя Вася.

— Сват! — приветствуя, расплылся папа. У дяди Васи с тётёй Натой из соседнего, в сцеп с этим, вагончика два сына, с которыми Валюша обрыскала и ближнюю, и дальнюю округу, и которых взрослые, смеясь, называют женихами девчонок, а друг друга — сватами.

— И не заикайся! — в упреждение доподлинно известной ей просьбе заявляет мама не успевшему и рта отворить дяде Васе.

— Вэ-эра!... — тянет тот с неистребимыми одесскими нотками.

— Веруся!.. — вторит и папа.

— Фроськиного молока! — имея в виду козу Фроську, отрывает мама, которая во всех гарнизонах, всегда и везде держала и держит козочек.

— Вэ-эра!..

На каждое их слово у неё в запасе всегда свой десяток.

— Ишь, моду взяли! Если я в медчасти — так у меня и спирт?! Дала, дура, один раз на свою голову!

— Ну, не один... — замечает папа, припрятывая голову в плечи.

— А ты вообще замолкни! — набрасывается на него мама. — Спиртику захотелось — сами и ступайте к Тигрине Львовне! Вперёд и с песней! Или к ней заявиться — кишка тонка? Знаете, что там и пэрднэшь — розсэрднэшь, и бзднэшь — не вгоднэшь!

Мужики прекрасно осведомлены, что всё это — дымовая завеса, назначенная отвадить от Ирины Львовны назойливых просителей. И что живут они — Тигрина и Вера — душенька в душеньку.

Семь лет назад, осмотрев её, прихворнувшую по-женски, Ирина выдала привычным ещё по фронту матючком:

— Хреноватые наши с тобой, Верка, дела! Опухоль. Отправить в город — выпотрошат, как воблу, а спасут ли — бабушка надвое гадала.

Вера, выдавшая в госпиталях столько мучений и смертей, считала себя закалённой.

И подумала не о себе. Под холодок парализующего страха подумалось — а как же девочка, два годика всего?.. а муж?.. Она была уверена и вовсе не факт, что ошибалась: без неё он пропадёт.

— Знаешь что, — предложила Ирина. — Ещё не поздно, попробуй забеременеть. В брюхатой бабе такие просыпаются силы — любую опухоль могут задавить.

И появилась на свет божий Томася, исцелительница и любимица мамина.

— Вэ-эра! — держится своего Василь, не сомневаясь, что одолеет.

— Очи б мои вас нэ бачилы! — окончательно выходит она из себя, что по обычаю случается с ней перед капитуляцией.

— Ой! Так-таки и «нэ бачилы!» — подхватывает папа, готовый подобраться к самому беззащитному в ней. — А как ты бежала, когда сказали, что блондинчика ранило? А?

— Дурна была — от и бижала! — бормочет она себе под ноги, направляясь в угол, где свалены кучей их пожитки, и выкапывает бутылку с деревянной закупоркой.

— Цей — той! — так она называет самогон. — Не проболтайтесь сдуру!

Мужики ошарашено глядят на неё, не в силах понять, когда и как, и при помощи чего умудряется она выгнать для них заветный «цей-той», всегда припрятанный у неё в запасцах. Уж не в ретортах ли медчасти?..

Василь, счастливый, отбывает на сборы, а папа затрагивает удручённую Томаську, говорит:

— Не горюй! Зайчик обязательно что-нибудь тебе принесет!

Прошлой осенью зайчик передал ей бусы из пурпурных сверкающих ягод. Она хранит их как зеницу ока, очень редко позволяя себе достать и потрогать. Ягодки сморщились и потемнели, но бусы от этого стали почему-то ещё дороже.

Нежданно-негаданно налетел ледяной ветер. Он так набрасывался на вагончик, что тот, казалось, вот-вот опрокинется с путей. Мама раскалила буржуйку докрасна, а в жильё было холоднее, чем под открытым небом. Вслед за папой Томася подносила ладошки к щелям, и ледяные струи обжигаяще надавливали на её кожу.

Папа добыл у ремонтников льняную паклю и принялся законопачивать там, где дуло, а мама поставила кипятить воду для мучного клея — промазывать поверх втиснутой пакли. Пока согревалась вода, она причесала гребнем льняной клоки и в несколько движений, свернув и перехватив скрученной из волокон тесёмкой, смастерила куклу с головой, руками и подолом до пят. Зачарованно глядя, Томася приняла подарок, который в тот же миг выпорхнул из её рук, отнятый сестрой. Мама так же проворно сплела вторую, но и ту выхватила сестра, отношение которой к младшенькой давным-давно отравлено повинностью её нянчить.

— Валька! — произнесла мама, и обе куклы, брезгливо брошенные, вернулись к Томасе. Одну она положила перед сестрой на стол, а другую, сделанную мамой первой и подаренную ей, баюкая, отнесла в свою постель.

Стены после упорной борьбы с протечками одолели сквозняки, но холода не победили. Мама подкладывала и подкладывала в обозлено гудящую буржуйку. Труба из красной делалась светло-розовой, в местах касания к ней дымился потолок.

Тлеющие места то и дело мама кропила веником, замоченным в ведре, и выскакивала наружу, отбегала, чтобы увидеть, не занимается ли сверху. Искры взвивались и опадали на вагон, грозя поджечь.

Заполночь немного согрелись и улеглись. Мама перестала подкладывать дрова, призатворила верхнюю, в трубе, вьюш-

ку, задорно, для детворы, повизгивая от холода постели, и морозя ледышками рук хохочущего папу, улеглась. Под одеялами и горою носильных вещей Томаське было почти тепло, а оттого, что весело маме, — забавно и празднично на душе. Для неё это было приключением — их соперничество с ветром и морозом.

Ближе к утру мама проснулась от бреда младшенькой. Она стонала, резко перекидывая головку со стороны на сторону. Мама выскользнула из-под папиной руки, чтобы подойти, но, не сделав и двух шагов, рухнула без сознания, громко, с каким-то деревянным звуком ударившись об пол. Проснувшийся вместе с ней и всё видевший папа догадался, что они угорели, и, стараясь двигаться экономнее и не вдыхать глубоко, выкатился из-под одеяла и пополз к выходу. Всё удавалось. Только запор на двери располагался очень уж высоко. Он дотянулся. Делая усилие над засовом, почувствовал, как вагончик завертелся вкруг него.

Открыв и выпав головою за порог, он уже не мог выпрямить шеи. Но каким-то чудом смог крикнуть:

— Васька! Сват!

Ни один из мускулов тела больше не слушался его. Но оставался краешек сознания. И он дышал. Собравшись с силами и понимая, что это последнее, что сделает, закричал чужим, заячьим голосом:

— Ната! Ната!

Отравление оказалось не таким глубоким, как могло бы быть. Главным нездоровым последствием случившегося стал понос. Мучительный, пронявший всех до единого, и длившийся, вопреки пилулям, несколько дней.

Из-за этого расстройства, непрестанно бегая на двор, Томаська простудилась.

Зажимая пальчиками нос, она через силу цедила отвратительное горячее козье молоко. И, послушная, исполнительная, по слову мамы не выбиралась из постели.

Родители были заняты службой, сестра, вызываемая неутомными «женихами», рвалась на волю. А ей всё определённое представлялось, что ощущение разбитости, вызванное температурой, эта ломота и нытьё всех косточек так безжало-

стно донимают её потому, что она успела отлежать себе и правый бочок, и левый, и что ничуть бы ей не повредило, одевшись потеплее, занять себя чем-нибудь за столом или просто побродить вокруг печки. Размявшись, она почувствовала себя бодрее и отважилась, основательно укутавшись перед тем в пальто и цигейковую шапку, чуть не удушив себя шарфом, показать носик наружу.

Степь в бурых проплешинах и белых намётах, согнанных ветром, затаённо молчала. Вспомнилось, как голосиста была она, степь, тёплыми вечерами. Как шумны и как всегда невидимы в ней те, кто звенит, пиликает и стрекочет.

Из прилежания Томася натянула рукавички, соединённые резинкой, протянутой сквозь рукава, и с ощутимым теплом в сердечке осознавая, как угождает этим маме, погрузила обутые ножки в короткие, с отворотами, ношенные мамины валенки. Накушканная, она едва переставляла ноги и не могла повернуть головы, но побрела по площадке перед вагончиками, поглощая оживлёнными глазками незатейливый окружающий мир, по которому успела соскучиться.

Канавы, вырытая ради отвода лужи, заманчиво темнела чуть поодаль.

Летом Томася с удивлением и восторгом разглядела в прозрачной неподвижной воде крошечных пучеглазеньких рыбёшек. Папа, приведённый за руку увидеть чудо, сказал, что это личинки комаров, которые «любят» её, Томасю, больше всех в семье и чаще всех кусают. Теперь поверх воды лежал лёд – кружевной по краям, совсем как блин на сковородке. Захотелось потрогать ножкой ломкое сверкающее кружево. Оно хрустывало и переливалось блёстками. Потом она проверила пяткой валенка, крепость тёмного льда за кружевом. С осторожностью надавила посильнее. Лёд держал. Тогда она шагнула с намерением пройти по замёрзшей канаве. И словно бы вдруг потеряла улетевшее вверх сердце — такой провал внезапно возник под ней.

Падала долго, будто в бездонную пропасть. Уже вода сомкнулась над головой, а она всё проваливалась глубже и глубже. Непроизвольно стала барахтаться, но руки трепыхались лишь внутри рукавов, а ноги – в пустотах валенок. И с рассу-

длительностью, которая никак не вязалась с её же отчаянными движениями, подумала, что нет, что выбраться невозможно. Но вспомнила сказку о лягушке, тонувшей в сметане. И едва только успела позавидовать лягушке, которой удалось взбить под лапками плотную опору, как услышала, что ноги коснулись дна. Что подсказало ей немножечко присесть, чтобы возник запас движения для толчка? Но она под села. Едва-едва, самую чуточку. И толкнулась, вынырнув.

Свисавшая полоска шарфа, намокнув, облепила лицо и не позволила вдохнуть.

Но теперь она погружалась, зная, где дно, и вытолкнула себя сильнее и увереннее. Рукам, спутанным отяжелевшей одеждой, стоило жутких усилий сбросить с лица шарф. К счастью, это движение наклонило её в направлении берега. Толкнувшись ещё раз, она оказалась у самой кромки, а погружаясь, не ухнула, как прежде «с головкой», а устояла на чём-то осклизлом, неверном, но кое-как удержавшем.

Немного уняв дыхание, подумала, что надо карабкаться, цепляясь за край канавы руками. Пальто, однако, висло на руках страшным грузом. И то, что поддерживало её там, внизу, грозило при любом неверном движении выскользнуть из-под ног.

Вместе с водой, проникающей сквозь одежду, холод острыми шипами впивался в тело, прокалывая насквозь и схватывая судорогами. Под судороги, готовые сломать ей ноги и спину, душу пронзило оцепенение. Это был не страх, это был ужас. Она не знала, сколько уже стоит так, вытягиваясь ртом и губами к спасительному воздуху, не знала, сколько ещё сможет простоять, когда над нею возникли три весёлые рожицы.

— А мы и думаем, — проржал старший из «женихов», — кому это там купаться приспичило?!

Сестре пришлось повозиться, снимая с неё дома пальто. Когда сдирала облепившее Томаську платье, в вагончик влетела мама.

— Ох, я вас навчу! — прокричала она, с порога метнувшись к висевшей на гвозде бельевой верёвке. — Ох, навчу!

Что ещё кричала мама, охаживая её и сестру верёвкой, Томаська не слышала.

Ей не было больно, не было обидно и совсем почему-то не было страшно. Верёвка обжигала, вгоняя в тело живое, благостное тепло.

Потом, растерев спиртом, мама укутала её тремя одеялами. Уходя, с примирительной усмешкой трянула головой:

— Ох, уж эти мне капитанские дочки!

А наутро Томаська встала абсолютно здоровенькой.

Лето обняло иссуха-сухим жаром. Дяди-солдаты смастерили для малышни насосики, прицельно бьющие водной струйкой. В разгар сражения, идущего возле бочки с водой, вернулся из части папа, срочно вызванный к командиру посреди выходного.

— Веруся, собирайся, утром снимаемся!

Мама уронила руки:

— Как так — снимаемся?

— Обыкновенно. Что — в первый раз?

— Та шоб вам повывлазило с вашей секретностью! Заранее сказать — язык бы отвалился? У меня коза, огород!

— Козу с собой, нам целый прицепп дают. А огород — ну что — огород?

— Ты с ним в три погибели не панькался — тебе, конечно, ЧТО!

И всё завертелось вокруг мамы и в её руках. Вещи, словно сами собой вспархивали и укладывались по порядку в походные, из досок, короба, не успевшая толком вызреть капуста кочан за кочаном прыгала в мешки и раздавалась сослуживцам.

Утром гусеничный «Сталинец» подал соединённые цугом пять прицепов. Дяди-солдаты таскали наспех сколоченные сундуки, таскали узлы, мебель. Не зная, что встретит на новом месте, с мясом выдирали и грузили буржуйки.

Детвора сходила с ума. Дорога! А значит — события, новые места!

И вот, повинувшись команде, дядя-солдат, сидящий, как на облучке, на открытом сидении за рычагами «Сталинца», понукает свой трактор. Разносится бодрящий душок от копоти выхлопа, и поезд дёргает с места.

Сперва все смотрят вперёд, но впереди до самого горизонта одна только степь.

И вот Томаська укладывается на мягкие узлы. Любимая коза, чьё молоко она на дух не переносит, пристраивается рядом и лезет целоваться. Нежный и шероховато-цепкий язык шорхает по губам ребёнка. Детский язык, озорничая, пускается навстречу. Фроська обкушалась вчера капустных листьев и вот ненароком пукнула. И покосилась конфузливо на маленькую хозяйку.

Траки тяжёлого тягача дольками нарезают грунт, отчего прицепы, идя по следу, мерно подрагивают. Томаська заводит долгое «а», вибрирующее от толчков.

— Как на волах!.. — мечтательно сказала мама. И вдруг встrepенулась. — Хлопцы! Девчата! — закричала в сторону прицепов, идущих сзади. — Айда к нам! Хор мы с вами, чи не хор?!

Прыгая через борта и обгоняя медленно тянувшийся сцеп, к ним набивается тесная гурьба.

Каким ты был, таким остался, — затягивает мама. Орёл степной, казак лихой, — подхватывает хор так, что слышно всей степи.

Фальшивя, надрывая голоса, орут и дети.

Когда взрослые, зная сердцем и собственной судьбой, о чём это, открывают, как на духу: «Я всю войну тебя ждала!» — крохотная душа Томаськи, мало что понимающая и понимающая всё, вдруг распахивается, готовая принять в себя весь мир. И в эту вот, несмышлёную, казалось бы, душу западают зёрнышками, чтобы пустить корешки и остаться навсегда, и умение ровно любить, и умение верно ждать. И ей, девочке, хочется обнять, как Фроську, и эту землю, которую жуют гусеницы тягача, и небо, и «Сталинца», рокот которого сливается с песней, как звуки баяна.

ДЕЗИДЕРАТА*

Так случилось, что я выпал из суеты, связанной с написанием чего-то и пробами это написанное опубликовать, на тридцать — поставивших почти всё с ног на голову во множестве сфер деятельности и уж тем паче в названной, — на тридцать лет. Но нет худа без добра: факт отсутствия законсервировал во мне былые представления о литературном процессе и о трепете своего причастия к нему. Поэтому потребуется целая история, чтобы передать, какой разор сотворился в душе, когда из легендарной «Юности» черкнули по электронке: один из моих рассказов, полученных там накануне, под закат рабочего дня читался в редакции вслух и всем очень понравился.

А история такова. В шестьдесят девятом году прошлого (боже мой: прошлого!) столетия «Юность» напечатала «Зори» Бориса Васильева. А в семидесятом я в армии, упиваясь этой повестью, прочёл её, взяв журнал из библиотечной подборки. Чуть позже в той же «Юности» появилось интервью автора, где Васильев рассказал о традиции читать вслух наиболее удачные вещи из поступивших в журнал. Я, помнится, только-только заболел мучительной и бесподобной этой болячкой — писать. Стоит ли говорить, как захотелось тогда, чтобы и меня когда-нибудь так же прочли в «Юности»!

А история продолжилась. Служить мне посчастливилось в стройбате и в Москве. Всласть бездельничая там сапожником, я читал, читал — самые лучшие книжки из созданных человечеством. И, естественно, был примечен чудным нашим библиотекарем — Тамарой Григорьевной, которая жила по соседству с Высоцким и дружила с ним. Дружила деятельно, как, впрочем, и с читателями, завсегдатаями её библиотеки. Она убедила начальство пригласить Высоцкого в наш клуб, который представлял из себя простецкий, но вполне сносный по тем временам концертный зал. Нам, стройбатовцам, платили зарплату, которая откладывалась на лицевой счёт. И вот, списав оттуда по рублю с носа, что было для каждого из нас сущей безделицей, собрали тысячу рублей для артиста — пять достойных, по тогдашним меркам, месячных окладов.

*Недостающее, желательное (медицинский термин).

Высоцкий пел с запредельной отдачей, как он только и мог петь. А потом у нас из радиорубки целый год вертелся тот записанный концерт – до нового его приезда. С лёгкой руки Тамары Григорьевны, Владимир Семёнович побывал во многих частях столичного стройбата, и потому не удивительно, что в качестве ответной любезности подарил ей ТОТ билет.

«Зори», как мы помним, вышли в шестьдесят девятом, а в семидесятом театр на Таганке поставил спектакль... Очередь хвостом обнимала квартал, люди стояли сутками, меня друг друга — неделями, только бы попасть. Мне казалось, что понимаю, какой подарок сделала Тамара Григорьевна, передав тот билет мне. Но до конца, конечно же, не понимал. Его запросто можно было обменять на бесплатную путёвку в престижный дом отдыха, в котором тогда уже (не наше ли ноу-хау?) было всё включено. Или — не знаю... Махнуть на место в очереди на автомобиль, например...

Делясь с Тамарой Григорьевной впечатлением, я в смущении умолчал о сцене, которая пронизала насквозь всё существо девятнадцатилетнего служивого — и духовное, и плотское. Они, на Таганке, всегда придумывали нечто небывалое с декорациями. В тот раз это был борт машины — четыре или пять защитного цвета досок с белыми цифрами и буквами номера на них. Борт разбирался, доски устанавливались стоймя — лес. Борт собирался заново — полевая баня.

Эта вот как раз баня... Видны были ножки, плечи и подрумяненные жаром лица. Весело безобразничая, они проигрывали эпизод помывки, рассказывая о прекрасных, как сама юность, девочках, которым предстояло погибнуть. Озорная, бойкая, смиряющая свой натиск игривым весельем эротика влюбляла в них наповал, и скорбь по ним, отдавшим жизни, делалась скорбью по самым близким.

Мы раним себе души, или нам ранят их, оставляя неизвлекаемые осколки, которые сидят затаившись, чтобы однажды, будучи затронутыми, возродят прошедшее. Одна строчка в электронной почте о том, что меня прочли, как когда-то читали Бориса Васильева, — и во мне возникло то первое, с пылу с жару, впечатление от его повести, и тот спектакль «Таганки», и Тамара Григорьевна, подаренный ею билет.

А рассказы, отправленные в журнал, подбирались с прицелом на 9 мая. Там не было войны, но были люди, прошедшие сквозь неё. И всю их последующую жизнь, как и уход из жиз-

ни, продиктовала война. До даты оставалось ещё месяца четыре, если не пять, и я коротал время, согреваемый мыслью, что принят. Ведь разве что-то иное могла означать весточка о чтении вслух?

И вот в самый канун заветного месяца происходит известная блокировка электронных контактов с Россией, в число которых попадает и моя почта. В спешном порядке регистрирую другой адрес и, чтобы не потерять связь, сообщаю его «Юности». Да, да, спасибо, отвечают оттуда. И пришлите, пожалуйста, ещё раз ваши рассказы.

Я, конечно же, мигом перебрасываю рассказы, которые после похвалы, казалась, были сделанными на ять, а сам себе думаю: «Их там потеряли? Отложили в сторонку и забыли? И если бы я в связи с блокировкой почты не напомнил о себе, о них бы и не вспомнили?..»

Получив, «Юность» откликнулась: «Спасибо! Мы вас планируем на июнь».

Июнь! Как же мне самому не пришло в голову?! Июнь, двадцать второе. Ведь рассказы, если задуматься, отсылаются именно к этому дню, совсем не к победному.

И вот в последней декаде июня на сайте журнала появляется шестой, июньский номер, в котором меня нет как нет.

Что ж, в обширнейшем портфеле такого издания как не найтись чему-нибудь попривлекательнее моих творений? Не сложилось, ничего не напишешь. Жаль, что с числом в календаре ушёл повод, который возобновится лишь через год. Впрочем, кто же их вспомнит, мои рассказы, через год!

Но проходит ровно месяц, и я читаю, открыв по привычке почту: «Извещаем Вас, что в 7-ом номере выйдет неожиданно для Вас и для нас рассказ «Еда»! Сейчас вот отправляем его в вёрстку. Ну, очень нам понравился. Но не просто он выйдет — у нас новая рубрика «Кулинариум». Именно по этим причинам он так удачно отобрался».

Да, да, ушло то время. Ушло. И где бы и что из мной написанного ни вышло к людям — он невозможен нынче, литературный успех, сравнимый с успехом «Зорь». Но не станем завидовать прошлому, а отпразднуем сердцем, что есть у нас теперь рассказик - самый коротенький, хотя и не самый слабый - но принятый «Юностью».

ЕДА

Наш с Анечкой низенький детский столик одной стороной своей поверхности касается стены, другой — обшивки рабочего кухонного стола. У двух оставшихся сторон на светлых деревянных стульчиках сидим мы. В тарелках перед нами — остывающий зелёный борщ, приготовленный по всем правилам кулинарной науки. Мелко-мелко искрошенное яйцо и ложка сметаны держатся островками в центре тарелок. Не перемешивая содержимого, мы с кислыми рожицами нацеживаем в ложки жижицы у края, глотаем, пересиливая себя. Маме невмочь присутствовать при этом представлении, повторяющемся три раза на день. Рано утром она бегала на рынок — выбрать кусочек нежирной молодой свининки, наилучше подходящей для готовки кислых щей, и пучок свежайшего щавля, и... Нет, она не выдерживает. Всякий раз мы являемся к столу, как приговорённые на казнь. Худющие, кожа да кости, бледные, как поганки, мы напрочь лишены аппетита, и то, что всё-таки съедаем, затапливается в нас под долгие уговоры, посулы и запугивания. Мы тянем время. Мы знаем, что вот-вот у мамы лопнет терпение, и она в отчаянии удалится, крикнув, что пока всё до капельки не будет съедено, мы не выйдем из-за стола. Тогда, пользуясь минутой, мы вылавливаем из тарелок мясо и, стремясь метнуть подальше, швыряем его в узкий просвет между стенкой и тумбой рабочего стола. Управившись, лениво помешиваем постылые порции, кривась, касаемся ртами пустых ложек. В соперничестве — кто кого пересидит — в конце концов сдаётся мама. Мы ждём, ждём и дожидаемся, когда она врывается со словами:

— Так, съешьте мясо и можете выметаться!

— Мы уже! — отвечаем в один голос и с одинаковой претензией обвиняемых понапрасну.

Мама исследует содержимое тарелок и, утешившись, что хоть мясо-то съедено, машет рукой, даруя нам счастье быть вольными.

Ничуть не предполагая скорого разоблачения, мы пользуемся изобретённой уловкой от присеста к присесту, пока в кухне не появляется запах издохшей под досками пола крысы.

К выходному, когда вонь становится нестерпимой и когда под рукой оказываются физические возможности отца, гро-

моздкий полусервант, заполненный по внутренним полкам фаянсовой, что попроще, посудой и всяческой кухонной утварью, сдвигается в сторону от стены...

Мама всё понимает мгновенно. Отцу, чтобы взять в толк, требуется какое-то время.

Что он понял, мы узнаём по взгляду, брошенному им на маму. Он глянул вдруг так, словно она ударила его.

— Это... — страшно переменившись в лице, произносит он, не зная, что сказать. — Ты! — выкрикивает маме с ненавистью. — Ты!..

Он задыхается, дрожащим всхлипом рвёт в себя воздух.

Мама пятится в испуге, но руки выбрасывает к нему — готовая спасать.

Взглядом и рывком головы отринув её жест, он кричит:

— Ты понимаешь — кого... мы!..

Ей не до расшифровок его мысли, она тянется остановить страшное.

— Мы! Барчуков! Сволочей! — кричит он, чуть не плача.

— Вы! — поворачивается к нам с Аней и ни в чём не повинной почти уже взрослой Талочке. — У-у!..

Закаменевшие от испуга и чувства ужасающей, хотя ещё и не осмысленной по-настоящему вины, мы стоим навтыжку. С руками, всё так же протянутыми к нему, мама смещается, заслоняя нас.

Приняв её как что-то такое, подступать к чему у него нет права, отец — из-за её рук с раскинутыми в стороны пальцами, из-за её плеча:

— Вы!.. Там с вами бегают во дворе... Они многие этого мяса... Неделями такусенького кусочка не видят!

— Да знаю я, знаю, — обращаясь к маме, говорит он упавшим вдруг голосом — убито и без всякой надежды. — Знаю, что всё это как об стенку горохом!

Мама подступает к нему, но тронуть не смеет. Он медленно и тяжело опускает лицо.

— Как всё-таки правильно, что скоро меня не станет, — говорит, словно уже себе самому — с согласием, что да, правильно, но без восклицания, а с какой-то не смирившейся ещё с этим его знанием заторможенностью. — Тогда они сами... Собственной шкурой... — заканчивает, желая и не желая нам того, что будет.

ЖМЕНЯ

*Улыбчивой и благодарной памяти нашего тренера
Вячеслава Николаевича Жменько*

БЫВАЛЬЩИНА ПЕРВАЯ

В борцовском кругу его зовут Жменей, а мы, гномы, — Вячеславом Николаевичем. За глаза, важничая, — Славиком.

Его широкие шишковатые скулы, выпирающие над впалыми щеками, неровно грановиты, словно откованы. Наверное, из-за этих скул он, невысокий и худенький, видится нам, его первенцам, могущественным.

Мы обитаем на антресолях спортивного зала, как бы на втором этаже. Подойдя к дощатому ограждению, можно видеть, как внизу играют в баскет или волейбол, а у стены усердствуют гимнасты. В дальнем от нас углу — помост штангистов, у которого кучкуются любители культуризма.

Есть что-то девчачье в их картинном таскании железа перед зеркалами и разглядывании себя, хотя и помучивает зависть при виде искусно наработанных тел.

— Не завидуйте, — говорит нам, разинувшим рты, Славик. — Это не мускулы, это мясо!

— Чего-чего?! — откликнулся рельефно вылепленный, рослый красавец. Работая на публику — медсестричку, которая, выглянув из травмопункта, стояла у косяка отворённой двери, — он как раз принимал у зеркала выигрышные стойки. — Что ты там проямлил, доходяга?

— Сказал, что ты чемодан с говядиной!

— Замухрышка! Мне тебя обнять — ты пополам переломишься!

— Да? А ты поднимись к нам, на ковре и пообнимаемся!

Качок красиво уронил верхние конечности, которые не улеглись вдоль тела — зависли на отлёте, подпираемые крыльями спинных мышц.

— Нет, ты слыхала, Светик? — искренне недоумевая, поделился с сестричкой. — И это ж он не в первый раз нарывается! — жестом призвал в свидетели своих собратьев по сози-

данию плоти. — Люди из соображений высокого гуманизма щадят его, не дают осрамиться перед новым поколением!..

— Опять ля-ля! — задиристо и звонко перебил наш тренер.

— Свет, ну посмотри на меня! Я же его двумя пальцами!..

— Ну вот и покажи, как это! Или тебе самому не интересно узнать, какой мощи в себя накачал? — припрятывая коварство, заманивал Славик. — Я же не драться зову — мирно повозимся, ковёр мягкий, падать не больно...

— Ну, чур, потом не плакаться, сам напросился! — объявил качок, с ленцою сходя с помоста.

Когда он, отдуваясь широкой грудью после пятнадцати ступеней, рядом со Светой и впереди всех своих вошёл к нам и приблизился к забияке Славику... У меня вдруг пересохло во рту — таким явным представилось наше поражение и так глубоко проник в душу ужас неотвратимого позора, тройне обидного из-за того, что бесчестие ожидает и тренера, и самой нашу борьбу, которая, конечно же, сильнее, но только выходящий от нас на её защиту не в той весовой категории. Со всем, совсем не в той!

Славик с улыбкой, показавшейся натянутой, сбросил спортивный костюм и остался в борцовском трико, великоватом на него и подчеркнувшем щуплость. Не худобу даже, а вот именно худосочность, некую очевидную в сравнении с противником немочь. Это настолько бросалось в глаза, что смутило даже качка — безобидного в принципе парнягу, чуть-чуть тщеславного, немного показушника, но в общем-то...

— Ладно! — всплеснул он примирительно ручищами. — Я тебя больше вдвое. Пободаться с кем из ваших тяжей — да, а так оно нечестно.

— Ну, с тяжем! — откликнулся Славик ершисто. — С тяжем как раз и было бы нечестно — сильно бы обидел. А я — чуть-чуть.

Он храбрился и немного переигрывал. Он набивался на вовсе не обязательную схватку, поражение в которой грозило ему потерей лица.

— Ах, Моська, знать, она сильна!.. — фыркнул чужак, а Славик, оставив разговоры, дотянулся до его статной шеи и, зазывая бороться, поддёрнул пришлого на себя.

Культурист без особого рвения неторопливо сгрёб нашего тренера в охапку.

Славик настолько потерялся в его лапищах, что мне захотелось закрыть глаза, а лучше бы сбежать от неминуемого

бесчестия. Не очень-то усердствуя, с некоторой щадящей оглядкой качок стал подламывать Славика под себя. Перевитые мускулами его руки походили на удава, который вознамерился удушить беззащитного человека. Наша, мальчишеская половина зрителей задавленно примолкла — будто бы каждый был там, с попавшим в страшную давилю учителем.

— Медведь! — прокряхтел едва различимый в тяжких объёмах Славик. — Медведь! — отсипели остатки вытесненного из него воздуха.

Но вот, откуда ни возьмись, из избыточного мускулатурой комка выпростался бледный локоть, нацеленный остриём в лицо силача.

Названный медведем с неудовольствием заворчал и ослабил хватку. Потом, обозлённый, он увернулся от колючего локтя и подался вперёд, желая стиснуть плотнее. Но Славик стал пятиться, всё убыстряя отступающие шагжки. И вдруг, когда чужак почти уже гнался за ним, молниеносно крутнулся, подсаживаясь, и вытолкнул набегавшего качка бёдрами вверх, а руками его шею и руку рванул книзу. Это было то самое «бёдрышко», которое мы начинали разучивать. Показалось, что вовсе не наш тренер, едва различимый в лапищах противника, а сам по себе верзила подскочил, перепрыгивая Славика, а верхней своей частью укладываясь под него. Ноги великана, описав в воздухе внушительную дугу, впечатались в маты со звуком выбивалки, ударившей по ковру.

Секунду, в течение которой опрокинутый приходил в себя, Славик использовал на то, чтобы впиться, присосаться к нему захватом. И, сработав ногами, улечься под правильным прямым углом к телу качка.

Верзила кинулся выворачиваться, накатывая на Славика, но тот знал, зачем укладывался точнёхонько поперёк его возможных движений — перекатиться в эту сторону у качка не было никакой возможности. Тогда изо всех своих силищ пришлый крутанулся в обратную сторону и, пожалуй, перевернул бы нашего тренера, подмяв его под себя, если бы тот, уперевшись головой в ковёр и балансируя повисшими в воздухе ногами, всё же не удержал его, приговаривая сквозь стиснутые зубы:

— Врёшь, не уйдёшь!

Отчаянно стремясь разорвать мёртвую хватку, в которую угодил, культурист мог делать только то же самое — выворачиваться вправо или влево. И он перевинчивался туда и обрат-

но, постепенно теряя силы, и, наконец, смирившись, пал на лопатки.

Мы, пацанва, выдохнули с облегчением и расслабили свои плечишки, спины, ноги, челюсти — всё, что до крайней степени было напряжено в нас, мысленно боровшихся вместе с учителем.

— Один — ноль! — небрежно, будто не сделал ничего особенного, объявил Славик, вставая. — Вы поняли? — растолковывал нам, пока чужак неуклюже поднимался с ковра. — Вызываешь на себя — чтобы ты у него как подножка, чтобы ты только помог, а он бы, как сам разогнался, так сам бы и улетел!

Пристыженный качок, считая, наверное, свой первый успех нелепой случайностью, очертя голову снова ринулся на издевательски скалящегося заморыша, и снова был пойман так же подсевшим под него нашим тренером. Только теперь Славик завладел лишь его рукой и так хлестанул сытым телом прищельца о ковёр, что сотряслась вся надстройка.

На этот раз Славик не дожидаясь. После броска он остался припавшим на колени и, вставая, пропел для нас часто повторяемую им строчку из песни: «Орлята учатся летать!»

Пришелец намотал на ус, что набрасываться себе дорожке. Но что в таком случае делать, куда прикладывать свои могучие силы? И он вцепился в тонкие запястья тщедушного пересмешника, стискивая их, что есть мочи.

С подковыристой веселинкой на лице Славик несколько раз показал, вращая руку в сторону большого пальца качка, что ему ничего не стоит освободиться. Повторял это для нас — показывая глазами, на что обращать внимание.

— Посмотрите, что с ним будет через пару минут! — сказал нам, относясь уже к противнику как к чучелу, на котором отработывают приёмы. — Никогда не делайте ненужных усилий! Ненужных и долгих! Смотрите — тужится, как на унитаже. Ничего не делает и тужится. А надо всё в себе расслаблять. Всё, что можно — расслаблять. Сила должна быть взрывной. Мгновенной и точно направленной!

Потолкавшись ещё немного и по каким-то известным одному ему признакам определив состояние качка, Славик высвободил из стремительно слабеющих тисков свои запястья и отдал их, только немного выше. Качок хотел было поймать их снова, но руки у него не поднимались. Славик, дразня, опустил свои ниже. Оставалось каких-то пять сантиметров, но и

этот ничтожный подъём был не под силу задубевшим рукам пришельца.

Паника и неверие в происходящее изобразились на ставшем вдруг жалким его лице. Руки с такими красивыми, такими внушительными мускулами отнялись. Они не слушались, они были чужими. Хуже того — они были мёртвыми. Не имея и малейшего представления, что такое возможно — с ним! — он с перепуганным вопросом, почти с мольбой обратил взгляд к нашему тренеру.

— Это кислородное голодание, — пояснил Славик. — Не дрейфь, скоро попустит. Слишком мясистую мышцу раскормил. Так-то она ого-го, а видишь — ни на что не годится. Разве что Светланке пыль в глаза пускать... Да, Светик? — и подмигнул дон-жуански.

Потрясённая сестричка смотрела покорёнными, послушными, как у загипнотизированной, глазами. Но как же мы, мальчишки, смотрели тогда на него! Это

было признание. Полнейшее, окончательное, — такое, которое случается однажды и на всю жизнь.

Никто уже больше — никто и никогда — не сможет мне доказать, что борьба, моя родная классика не победоноснее любого из известных человечеству единоборств. Нет, разумом я буду сознавать, что это наверное и даже наверняка не так. Но душу столь впечатлённую однажды... её не переубедить.

А гости снизу с одинаковым у всех битым видом подались вслед за отпробовавшим борцовского ковра к выходу. Некоторые, впрочем, замешкались у ступеней, и один спросил:

— Слава, а нам приёмчики покажешь?..

БЫВАЛЬЩИНА ВТОРАЯ

Когда Славик укатил на соревнования, — а он сам всю ещё боролся, — подменять его остался Дрысь, закадычный Жменин побратим и сачок, каких свет не видывал.

Его изломанное левое ухо, своевременно подбинтованное к голове, было приплюснуто к волосам и походило на отбитую перед готовкой во фритюре мякоть кальмара. А правое, которое не озаботились вовремя прижать обмоткой, торчало любопытствующим локатором. Похожей любознательностью светился и его правый глаз, отличаясь от хитровато прижмуренного левого.

Ленивый до чрезвычайности, он, развалившись на запасных матах, сонно покрикивал, командуя нашей разминкой, разбивая для работы в парах. Но вот, позвав нас передохнуть, он неожиданно оживился. Сел по-турецки на мягком своём возвышении и спросил:

— Хотите, расскажу, как Жменя заработал мастера спорта? Ещё бы мы не хотели!

— Чтобы войти в тему, откроем секрет. Но только чтоб тихо: вы ничего не знаете! Папа Карло, наш тренер, Жменю не принял в секцию. Славке уже исполнилось шестнадцать, а чахлый, синий какой-то. Он и сейчас не очень, чтобы очень, но по сравнению с собой тогдашним — силач Бамбула. Папа Карло глянул и говорит: «Под северной трибуной в шашки играют, тебе туда». Славик — я борьбой хотел... Папа Карло заводится с одного касания. «Ковёр мне засорять?! — кричит. — В шашки, я сказал!» Славка в коридорчик вышел и как расплачется. Мы вместе пришли, меня взяли, а его... И тут Папа Карло отбывает месяца на три на сборы. Я Славке бегом информацию, он является, и подменщик — а он не знал, что Карло отказался, — Славика принимает. И вот три месяца мы отзанимались — первенство города. И Жменя возьми его и выиграй!

Возвращается Папа Карло. Глянул — «А этот что здесь делает?!» Подменщик — «Так он город выиграл!» Карле крыть нечем — «Город?.. Ну, пусть болтается!..» И такое же отношение — и год проходит, и второй, и третий — «пусть болтается!» И едем мы на первенство республики. Я в секундантах, на подхвате, а Жменя в команде. И там уже, когда приехали,

узнаём, что Днепр выставил Пецу Двинутого, чемпиона мира. Эх, Карло быстренько хлопца, на которого имел виды, вычёркивает из этой категории и — давай гоняй вес, в нижнюю пойдёшь. А Жменю — тебе, мол, всё равно, где проигрывать, — записывает в категорию, где Пеца...

Задетые такой несправедливостью, мы поёжились, как на морозце, а Дрысь сделал паузу, оглядев нас хитрым глазом.

— Теперь — Пеца. Дружбан наш — и Жменин, и мой. Оттого росточка, что ввысь, что вширь — одинаковый и — хулиганистое, гоношистое, настырное!.. Знает полтора приёма — корявое бедро и в партере дохленький накат. Ещё в партере у него одно зверское забегание — потом расскажу. На ковёр выходит и начинает с правой и с левой дёргать тебя за шею. И дёргает так — с ударчиком. Вроде и дёрнул, а в общем-то дал по шее. И силища — ну, просто звериная! Ты шарахаешься из стороны в сторону, ничего сделать не можешь. А этот поддёргает, поддёргает — и в глазки заглянет. Не мутные — дальше дёргает. Пока не помутнеют. А потом или корявое бёдрышко, или — дёрг двумя руками на себя. Ты плюх на четвереньки. Этот, как зверюка, прыг на тебя, руку выхватывает, в шею тебе локоть между позвонков и давай с захваченной рукой забегать по кругу. Болища невыносимая — сам скорей укладываешься на лопатки, только бы не эта боль!

Дрысь так уже увлечён тем, что рассказывает, что делается яснее ясного: не схватки, не спортивные успехи — ему дороги здесь эти вот истории и ещё возможность повторять их перед теми, кто слушает беззаветно.

— И вот Двинутый — никакой он ещё не чемпион — устраивает с неразлучным своим кентухой, Лёхой-тяжем, побоище на танцах. Милиция — они и милиции трендюлей. Милиция вызывает наряд — человек десять на грузовом ГАЗоне. Все гуртом кое-как их поскручивали, руки сзади наручниками, везут. В кузове везут на таких скамейках. Пеца в одном переднем углу кузова, Лёха в другом. На перекрёстке притормаживают — Пеца как катапульта его подбросила — перелетает через борт, внизу — точно на ноги и удирать.

Эти, которые наряд, по кабине тарабанят «Сто-ой!!!» Остановились, они все из кузова — за Двинутым. А Лёха спокойно-ненько слез и сделал ноги в другую сторону!

Дрысь с таким удовольствием говорит о лихости своих героев, что у него делается вкусно во рту. Звучным хлебком приправ и проглотив слюнки, он продолжает:

— Ну, сбежать сбежали, встретились в своём месте, а что делать с наручниками? Браслеты, пока они удирали, не то что кожу попродавливали — кости ломают. Тяж чуть не плачет — ничего не хочу, пойду сдаваться! Пеца: «Руки пристёгнуты — я тебя зубами загрызу!» Надумали к знакомому пацану в гараж. Там точило. Покамест браслеты перетачивали, руки до мяса, до костей ободрали и сожгли. Но милиция всё одно находит — что там искать, их весь город как облупленных. И Пецу, чтобы не загубить спортсмена, — в армию, в спортроту. А он там в первый же день сержанта — по роже. И его — в рядовую часть.

Подкатив глаза, Дрысь снова лакомится набежавшими слюнками.

— В части. Охраняют они с таким же рядовым склад. Ходят один мимо одного туда и обратно. И Пеца говорит: «У нас до пересменки ещё час с лишком. Айда к Таньке! Самогончика хряпнем, а то и Таньку приговорим...» Этот — не, давай пересменки дождёмся и тогда уже — к Таньке. Пеца орёт: «В гробу я всё это видел!» Хватает автомат за дуло и швырь его в кусты. Выбросил — и к Таньке. Напарник свой автомат под камешек припрятал и — с ним. Пришла смена — где караул? Тревога! Всю часть на ноги — искать. К утру находят их у Таньки тёпленькими.

Дрысь держит паузу, обводит нас любознательным, потом хитрющим глазом.

— Суд. У этого, который напарник, спрашивают — как было? «Он мне предложил — я отказался. Тогда он автомат выбросил и ушёл». А вы? — говорят. «А я не выбрасывал, я под камешек спрятал». Спрашивают у Двинутого. «Не знаю. На меня находит, что угодно могу сотворить. Если он так рассказывает — значит, так и было». Суд выносит решение. Пецу как ненормального комиссовать, а того, который сознательно — в штрафбат.

Взамен морали Дрысь скраивает глумливую физию и с аппетитом сглатывает.

— Но вы ещё не знаете, что перед армией Двинутый женился. На такой же хулиганке из их же компании. Красавица — глаз не отвести. На голову Пецы выше, светленькая, глазки, фигурка!.. Двинутый — сколько он там прослужил? И — дома. А дома ему и докладывают. Что с одним как бы она сама встречалась, а второй, начальник цеха, вроде как бы вынудил. Да-а...

— И встречаются ночью Пеца с Лёхой-тяжем в подъезде того, с которым она сама. Пеца ему — я, мол, понимаю, что ты не при чём. Но пойми и меня. В городе каждая собака знает — как жить, если не отплачу? Вот пассатижи, давай я вырву тебе четыре передних зуба, и — квиты. Тот — куда деваться — вырывай.

С начальником цеха — вопросец посерьёзней. Нашли пацана с собственной моторкой и который у него работает. И заставили, чтобы тот подбил начальника на рыбалку и привёз на такой-то островок. Тот причаливает — эти двое встречаются. Нализались, ожидаючи!.. Лёха хватает цепуру, которой лодку на стоянке замком пристёгивают, ножищей упёрся и ка-ак рванёт! Выдрал с мясом. Потом продевает цепь в кольцо, которое для замка, — петля. Удавку эту начальнику цеха на шею и ведут его вешать. Этот, который привёз, — вы что, кричит, идиоты?! Мы так не договаривались! Пеца ему — заткнись, а то и тебя повесим!

— А там такие сосенки чахленькие — еле-еле сук нашли подходящий. Перекинули через него хвост цепи и оттуда вдвоём подтягивают. А пьянючие!.. Сук треск — они шлёп на задницы. И цепь уронили. Начальник цеха, не долго думая, ка-ак учешет по берегу! За ним цепь волоком, сзади два страшилища бегут, а он — «Помогите! — орёт. — Спасите!» Кто-то на моторке подрулил — выхватили.

— И вот привозит Пеца в Днепр «золото» Европы. Ему городские власти на радостях — мотоцикл, «Яву». Тоже додумались! Оно ж дороги в жизни никому не уступало! Ну и влетел под КраЗ, переломал себе кости. Лежит в больнице. А организм зверячий, чуть только покой — давай набирать запасы. Тренер пришёл проведать — ё-моё! В нём сто с гаком килограммов! А через два месяца чемпионат мира. Двинутый — Анатолевич, — орёт, — сгоню! «Что ты стонишь?! Сорок кило?! Да такой перепад веса только женщины выдерживают в период беременности! Тебе не то что бороться — сам по себе издохнешь!» Пеца — нет, — кричит, — сгоню! И золото возьму, вы меня знаете!

— И сигнал. И на чемпионат поехал. А там ему попадается в финале точно такой же хлыстун, как он. Один в один! Пеца его по шее, а он — Пецу. Пеца его, он — Пецу! У Двинутого пена из пасти. И так страшный, как Квазимодо, а тут — сатана сатаной. Эх, ка-ак дёргает он хлыстуна двумя руками к себе! Тот еле устоял, назад качнулся — Двинутый его вдогон-

ку ка-ак толканёт! Тот падает и круть на живот. А Пеца прыг котярой, руку его хватъ, локотище в позвонки и — по кругу, по кругу! Чуть голову не отвинтил за своё золото!

— И вот с этим Двинутым бороться на УкрАине нашему Жмене. Да ещё и не в своём весе! А там как — там поставили весы на верхушку категории и взвешивают, главное, чтобы не больше. Ну, у Жмени меньше, о чём переживать! Но найдись тренерок такой один въедливый. Оно ж на глаз видно, что Жменя не отсюда. «А взвесьте-ка, — говорит, — вы его по-настоящему!» Взвесили. Ёханный-переёханный! Чуть не ведро воды надо в себя запузырить! Жменя пил, пил, — приходит. Ровно кило ещё не хватает. Он уже точно стаканами отмерил — выдул. Приходит — краше в гроб кладут. Стал на весы — тютелька в тютельку. А тренерок, который въедливый — часы сними! Жменя понять не может — что? Часы! Часы, говорит, сними! Снял — двадцать граммов не хватает. Он воды в рот набрал и на весы. А тот — проглотил! У Жмени, вижу, не эта вода в него, а та, которая в нём — оттуда. Как проглотил — никто не знает. С весов я его уже под руки ловил.

— Первый день боремся — выигрываем. На второй опять вес напиваем, с Пецей жребий пока не сводит — выигрываем. На третий день таких промываний на человека нападает «швыдка Настя». Несёт, как после ведёрной клизмы! Взвесились — Славка мухой в туалет. И на горшке посидел, и в «ригу» съездил. Пустой остался, промытый весь, как стёклышко. И так ему жрать захотелось — хоть вой. Два дня с этими напиваниями на хавку смотреть не мог, талонов собралась целая пачка. И он уже в столовке душеньку отвёл! Заполировал тремя порцайками оливьешки. Да-а...

— И вот финал. Я в углу. А мы со Славкой искали, на чём бы Двинутого подловить, и смотрим — подходит «вертушка-вонючка». Но только надо его раздраконить с самого начала, пока ещё силы свежие. Вывести из себя. И Жменя — руки подают перед схваткой, а Жменя: «Парашют прихватил?» Тот — чего-о? «Чтобы не больно падать!» И Двинутый сходу его по шее, по шее, по шее, по... И тут Жменя круть ему «вонючку»!

Увлечённый Дрысь спрыгивает на пол, изображает вертушку.

— Один балл! Пеца взбеленился — Славик отступать. Тот гонится, гонится, гонится, а Жменя ему бац «кочергу»! — ещё раз показал вживе, как это было. — Два бала!

— Как Жменя добегал от него до перерыва — не знаю. Я, в углу стоя, и то чуть не пропал. Минута передыху. Три балла выигрываем. Но пять минут ещё держаться. Пять минут! Пеца — зверь зверем. Жменя в его лапах — как мыша у кота. Вправо-влево, вправо-влево! У меня уже муть в глазах, а он стоит. Двинутый рвёт его на себя, толкает, опять рвёт. Жменя, смотрю, бледнющий! Ёлки, думаю, ему подступило ото, шо сожрал! И он, вижу — уп, уп! Позывы! Еле держится! А этот его — туда-сюда, туда-сюда! Да-а... — тянет Дрысь в полном потрясении.

— В конце концов сбивает нашего с ног. Балл отыгрывает. Но балл — ладно, тут другое! Тут Жменя на живот падает, и вижу — из него выскакивает на ковёр зелёная горошина из оливьешки. Он хап её ртом, — изобразил Дрысь, — шито-крыто. И сразу руку под себя — не дать Двинутому, не то — копец! Пеца поддёргивает его вверх, проныривает руками в пояс. Тянет на «накат» — Жменя руку в упор. Пеца к руке — Жменя её под себя. Пеца на «накат» — рука в упоре. К руке — то же самое. Раза три кидался туда-обратно. И здесь ему кричат: «Пеца, время!» Секунды остаются! И что же этот гад удумал? Проныривает руками в пояс и там — оно ж не видно! — хватить Жменя за коки!

— За я... — потрясённо уточняет кто-то из нашей братии.

— За «ты», за «ты» самое!.. Жменя после говорил — боль такая — глаза на лоб полезли! А крикнуть не могу. Рот — откромлю — и стругану на ковёр всё, что сожрал. Покраснел за секунду — не покраснел, сизый стал! И я в углу тоже не знаю, какой. И тут — гонг. Гонг! Чемпион! ЧЕМ-ПИ-ОН!

У Дрыся вытянулась вверх шея, разного настроения глаза одинаково посуровели. Похоже было на то, что он слышит гимн и глядит на плывущее вверх знамя. Это легко угадывалось, мы чувствовали ровно то же.

— Вот так, — снова смежил он хитрый глаз. — Вот так становятся мастерами спорта! А вы думали — как?

Заветные минуты отдыха. Вернувшийся Славик усаживается на скамью, придвинутую к ковру, на котором, как многоликий выводок, в тесный-претесный комок сплачиваемся мы. За место под его рукой, которую он нет-нет, а и опускает на чью-нибудь голову, соперничают все, но всех отчаяннее мы, безотцовщина.

Счастливики замирают под ненароком тронувшей их ла-

донью. А угодившие на задворки ударяются в нарочитое баловство, напрашиваясь на «лычку», отпущенную его рукой. Самого неугомонного из баловней Славик подманивает к себе. Цаплей ступая через товарищей, тот подбирается, радостно склоняет голову. Сухой и длинный палец тренера взводится, как пружина, и расколотым орехом звучит щелчок. Почёсывая под общее ржание стриженую черепушку, проказник озаряется счастьем награждённого и спрашивает, правда ли, что Вячеслав Николаевич был схвачен за...

— Именно! — хохочет Славик. — За я-сные очи!

— И как же вы выстояли?

— А я не выстаивал. Я тихо отъезжал из сознанки. И думал только, что вот не вышло доказать Папе Карло. Не вышло... А оно взяло и — вышло.

— Так вы — чемпион мира?

— Откуда? С чего ты взял?

— Но вы же победили чемпиона мира!

— Да. Но на чемпионате республики. Нет, чемпион — Пеца. Пеца Двинутый. И ещё не раз станет чемпионом. А у меня нет данных. Не было и нет. Такая вот штука...

Ни один тренер тогдашней необъятной нашей страны не выпестует столько мастеров и чемпионов и столько новых тренеров, как он.

А я... И я не стану чемпионом — у меня тоже не окажется данных. Но ни в армии, ни в колонии, когда один на один, я не спасую ни перед кем.

Ещё, благодаря Вячеславу Николаевичу, я не буду курить.

А ещё... Когда выпадает пригладить вихры внука, я вспоминаю руку тренера на моей макушке.

Сергей ШЕЛКОВЫЙ
«Жизнь оказалась щедро, странно длинной...»

* * *

Что есть судьба? Что есть душа? — от века
бездонный взор тревожных этих слов
лишает сна и мира человека,
и хлеб себе добывшего, и кров...
Опять в степи моей густеет вечер,
гнездовья птиц стихают в гуще трав.
Куманский камень-идол, мёртв и вечен,
темнеет, в плечи голову вобрав.

Звезда дрожит, чуть слышно корни дышат,
и ржой веков горчит полынный сок.
Размах небес Писаньем млечным вышит —
о том, что мир и проклят, и высок...
И здесь, среди немереного края,
его волшбой полночною дыша,
я лишь одно неодолимо знаю —
что вправду есть судьба и есть душа!

* * *

От нищих уходи, от богачей — тем паче.
Глядишь — к исходу дней останешься один.
И не стыдись ни слёз невидимого плача,
ни на челе морщин, ни над челом седин.

Что было, не прошло — вросло занозой в душу,
изрыло шкуру-плоть трудами лемехов.
Верёвку затяни на поясе потуже,
пеньку бы на кадык — да всклень и так грехов...

Но были, — вспомни, — сны, и яви тоже были!
Вон там, на берегу, сияет ночи час,
когда, — рука в руке, — мы целый мир любили,
и строгий Взор со звёзд прощал с улыбкой нас...

* * *

Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья —
табак, горчащий нежностью нежданно...
В султанах, — от луны и лампы, — тени,
на мел лачуги брошенные странно,
сплетаются причерноморской страстью
в любовные обманы-чародейства.
И лоз июльских пальцы и запястья
прильнули к известковым стенам детства,
где ничего — не поздно, не зазорно,
ни в брызги, ни в осколки не разбито,
где золотятся виноградин зёрна
сквозь мякоть, как зеницы неофита...
Уснула в доме Оля-оленёнок,
дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.
Слой кафкианской ночи Кафы тонок,
где — бархатцы, где сам я, байстрючонок,
пью пай свой меж хозяек лунолицых...

ВИНОГРАДНИК

Снова в стылом осеннем солнце —
лилипутов игольчатый писк.
В винных ягодах сладко пасётся
череда белощёких синиц.

Винограда подмёрзлые кисти,
в примороженных за ночь листах,
зреют трудно, как поздние мысли,
в опустевших, до гула, садах.

Из садовой лучинной лачуги,
где антоновки дух да бедлам,
вижу радость лукавой пичуги
и по-птичьи радуюсь сам.

Солнце льдистое наискось встало —
бледно, словно в последний раз...
Между стёкол уснул устало
многоцветный павлиний глаз.

Позолота пыльцы облетела
с ломких крыльев, с древесных ресниц.
Вот и вызрела изабелла —
фиолетовый мёд синиц!

* * *

Какое благо — босиком
бродить две долгие недели
и стать, без умысла, без цели,
без паспорта, лесовиком.
Брести чащобою травы
в белёсых выгоревших шортах,
встречая лишь стрекозий шорох
и лепет лиственной молвы.
И что за радость — цвет-чебрец
в бутылку ставить у подушки,
червонный чай хлебать из кружки,
аки мытищенский купец...
О поднебесных толковать
необязательных предметах, —
о Зодиаке, о приметах, —
и в чайник мяты подсыпать.
И вспоминать, что в эту ночь
Земля летит сквозь рой Персея,
что август, метеоры сея,
опять уводит лето прочь.

И все созвездья так близки,
когда выходишь из-под крыши!
И тянет — приподняться выше,
хотя б уж только на носки...

* * *

Заплёлся диким виноградом
шестидесятилетний сад.
И я с ним рос все годы рядом.
И тоже сумме дней не рад.
Заплёлся хаосом вторжений
и ненасытностью лиан
свидетель всех моих сражений
и всех, поросших былью, ран.

Вот снова лёгких туч кочевья
летят над маем во хмелю.
И я печальные деревья
лечу — сушняк ветвей пилю.
А солнце так сияет, словно
прогонит всех смертей недуг.
Фиалки вьют гнездо укромно.
И ты целишь меня безмолвно,
мой лекарь-сад, мой знахарь-друг.

* * *

Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном —
и вы, смутясь и торопясь, войдёте
туда, где правят юности законы.
Там вкус вина смешается и соли,
и там повсюду будет привкус солнца.
Лиловым ветром позабытой воли
повеют с древних склонов колокольцы...

Была ладонь её солоновата,
и горячи нетронутые губы.
Спускалась ночь, почти что без заката,
и лето шло стремительно на убыль.
И юность к окончанию катилась
к подножью от вершины Аю-Дага.
И всё прошло, забылось и простилось.
И близко всё — каких-нибудь полшага...

Жизнь оказалась щедро, странно длинной —
и ныне так же колко, как в семнадцать,
обводом моря, лунною долиной,
тропою кипарисной пробираться...
И может быть, вы просто не умрёте,
глотнув свободы над волнистым лоном. —
Не больше часа в белом самолёте,
не больше ночи в поезде зелёном...

* * *

Памяти В.Свидзинского и В.Борового

«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана —
сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана —
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлокосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,

прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, —
о подольском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.

И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...

ЛЕТНИЙ ДОМ

Думы с утра — высоки и легки,
словно из юности что-то воскресло.
В домике летнем живут пауки —
в рамках оконных, под ручками кресла.
По деревянным трёхгранным углам,
под потолками, блестит паутина,
и отзываются всем сквознякам
слабым дрожаньем чешуйки хитина.
Что-то случилось тут прежде со мной —
то ли из сумерек слышалось пенье,

то ли укропом, политым луной,
пахло мальчишества стихотворенье.
Так и вселилось в запущенный дом
это, казалось, ушедшее, время. —
Тихо бормочет в углу с пауком,
сушит на полках укропное семя.
А за раскрытым со скрипом окном
вспыхнет небесно наивный цикорий,
не позабывший ни духом, ни сном
детской любви, аллергии и кори...

* * *

«Ракло» и «тремпель» — харьковские цацки,
похмельями зачатые слова.
Трущобами замацанные сказки,
ветвистая, над мусором, трава.
Да, я любил те дымные бурьяны!
Осеннее мальчишество моё
бродяжило по листопаду пьяно,
лишь полночь царапаясь в жильё...

Ни злого века, ни чумного места
незамутнённый взор не признавал.
И жизнь была желанна, как невеста,
в те дни, когда я лёгок был и мал.
На Рымарскую улицу вернёмся —
к листве лимонной чёрного двора,
в далёком дне средь осени проснёмся
и снова будем молоды с утра.

И удивимся вновь живучей сини
над копотью дворовых чердаков.
В кривом окне на хрупкой мандолине
играет мальчик жилками висков.
И вновь мы будем теми, кем не стали,
и снова нам сулит звезду достать
плебейский город — из травы и стали,
босаяцкая и ангельская статья...

* * *

Коханья — в кухне ль, в поезде, в лесу —
оно и есть, пусть хоть в степи, коханья.
Я крест свой недомыслия несущу,
и ты свой куль. И всяк в своём обмане
влачит по кочкам и ухабам дни.
Жизнь под откос идёт, дичает поле.
Но дни коханья... Видит Бог, они
даруют высший смысл земной юдоли.
Не беспокой, мой друг, Петрарки сон. —
Я знал и Беатриче, и Лауру.
Как солнце всходит, так пиит влюблён
и сердцем умным ловит пулю-дуру
летучую — себе ли на беду,
педанту ли на страх иль курам на смех...
Я сам с раскладом давним не в ладу,
где стих мой молодой клянётся наспех
кому-то в чём-то... Вовсе не спешу
я возвращаться в пгт Рыжово,

чужих оград приветствовать паршу,
чужой черешней любоваться снова...
Не окликай и ты меня, разлёт
лихих бровей, и вы, ресниц фантомы!
Мальчишества стрекозий самолёт
уткнулся лбом в траву аэродрома...
Отнюдь мне электричка — не сестра,
не брат — посёлок типа городского.
И юность та мне не мила — остра,
занозиста любви её полова.
А всё ж кохання — в тамбуре, в саду —
на свой напев, на свой живой обычай
я с мёртвых языков переведу,
со слов невнятных в путаном году,
с очей-черешен поселковой Биче.

* * *

Памяти А.И. Шелковой

Тем прежним дням давно пришёл конец.
Иссякла теплота живого круга...
Прости мне, седовласая подруга,
что всё пытаюсь удержать багрец
протяжной осени... Я мог бы рассказать,
как мы с тобой друг другу улыбались,
когда ни хворь, ни нищенство, ни зависть
нам не мешали vareжки вязать
семейных дружб. Застольных вечеров
белела накрахмаленная скатерть.
Ещё алтарь — юродив, словно паперть,
и отрок в кумаче ещё готов
принять и горн, и звонкую присягу
тиснёным нечитаемым томам,
гугнивым государственным умам
и помидорноколерному флагу...
Ещё я сам доподлинно горжусь
отечественным ловким луноходом.

Но, говоря с собою неким кодом
ритмическим, я в службу не гожусь
на море, на орбите и на суше,
а также в тех общественных местах,
где методом баланса на хвостах
полцарства околачивает груши...
Там, Саня, ты и вправду молода!
Тебе всего лишь семьдесят в субботу.
И праздничную вынянчить заботу,
свистать к столу, фамильному оплоту,
ты, по привычке, рада и горда.
И тесный круг тот, скатерти крахмал,
приборов мельхиоровые звоны —
и есть единокровия резоны...
Кто мне рукой оттуда помахал?
Простите мне — я и теперь не тот,
кого, быть может, видеть вы хотели.
Но, буду ль я неплох в пристойном деле,
негромко вспомню вас, мой строгий род.
Петра, Ивана — старших братьев... Спи,
последняя, из всех восьми, сестрица!
Спи, Александра, Пасха ли приснится —
лазурное яичко облупи.
Что помнила, не скрыла. Сберегу
слова, на снимках молодые лица.
Спи, Александра, Троица ль приснится,
приди к огню на тёмном берегу.
Мала игла, и спутан чёрный стог.
И был мне грех — я проводам учился...
Простите мне, о ком не помолился
или молился менее, чем мог...

* * *

Никого ни о чём не проси,
за пожухлую быль не цепляйся,
за кривое железо оси
в околесице дробного пляса...

Жаль чего?
Разве радужных пчёл
на пиру травяного июня
да сверчка во хмелю маттиол
в голубом молоке полнолуныя?

Разве тени ступни на песке,
бесполезно-жемчужного сора,
пряди русой на детском виске
да ничейного нежного взора?
Вот и всё...
Ни о чём не моли.
Обнимись с корешками кривыми,
что грызут в поднебесной пыли
земляное шершавое вымя.

Антон ЛУКИН
БЕСЕДЫ ПРИ НОЧНОЙ ЛУНЕ

ЗВЕЗДНОЙ НОЧЬЮ

Илья Петрушин возвращался к себе домой. Засиделся нынче у Егорыча, на другом конце деревни. Приняли немного, поговорили по душам, давненько так уже не засиживались с ним. Завтра выходной, можно немного и расслабиться.

Работал Илья в колхозе механиком. Без его золотых рук не обходилась ни одна техника. Председатель все не мог нарадоваться им.

— Без тебя бы, — говорит, — все пропали бы. Ни за что бы план не выполнили.

И тоже верно. Техника нынче старенькая. За ней глаз да глаз нужен. А работал Илья со всей душой, с нежностью, если можно так сказать, относился к тракторам и комбайнам, может, и потому техника одного его слушалась: тут же оживала и работала с полной отдачей.

Илья шел легкой походкой по деревне, поглядывая на небо. Бледнолицая луна ярко светила.

— Ты гляди-ка, зараза какая, — улыбнулся он, — разыгралась-то как. Только с невестами в такую ночь гулять.

Тихо кругом. Хорошо. Только кузнечики трещат в темноте. Илья расстегнул душу нараспашку, добрая улыбка сама не спадала с лица. Вспомнилось, как семнадцать лет назад с Марусей гуляли по деревне. Так же светила луна, так же подмигивали звезды с неба, так же играли кузнечики, так же было хорошо и легко на душе. Проходя мимо Сомова дуба (у Степана Сомова отец еще до войны посадил дерево, так и прозвали), Илья заметил чей-то силуэт. Кто бы это мог быть, да еще один? Подойдя поближе, Петрушин узнал своего соседа.

— О, здорова, Кузьмич. Ты чего тут один скучаешь?

— Илюша, ты это?

— Ну, а кто же? Чего говорю, сидишь тут один?

— Да я это...

— Снова?

— А?

— Снова, говорю, буянит?

— Да нет, что ты, нет.

— А то я не вижу, — Илья присел рядом на траву, достал папиросу, закурил. — Чего он снова-то?

— Успокойся сейчас, спать ляжет, э-э, — Кузьмич махнул рукой. — Все хорошо, Илюша, все хорошо.

— Поговорить бы с ним надо, не дело это.

— Ты что?! Не надо, не надо, Илюша. Он же сейчас дурной. А случись чего? Не надо.

— Ты, батя, прав, конечно. Но ведь это тоже, извини меня, не дело. Когда же он у тебя за ум-то возьмется, а? Как опрокинет кружку браги, так сразу и герой. Паразит поганый.

Кузьмич слегка простонал, то ли, соглашаясь, то ли просто чтобы не молчать. Илья посмотрел на него, на его печальные глаза и тяжело вздохнул. Жалко ему было старика. Живешь, работаешь, всю душу вкладываешь в детей, а потом вырастают они и плюют тебе в эту самую же душу.

Речь шла сейчас о Макаре, младшем сыне Кузьмича. Был у него еще Иван, да утонул семнадцать лет назад. А старшая, Елизавета, в городе, замужем, редкий раз приезжает. Макар тоже поначалу, как из армии пришел, в город подался. На Горьковском автомобильном заводе работал. Технику тоже любил. Женился. И все бы у него было хорошо: и голова, и руки есть, а нет, запил, будь неладным оно — это вино. И ведь как бывает-то. Одни выпьют, вроде бы и ничего, спать ложатся, тихие, но этот, как опрокинет за шиворот, злыдень злыднем. То ли бесы в него вселяются. Психует, с кулаками на всех лезет. Пожил с женой семь лет и разошелся. Да и понятное дело, сколько же можно терпеть бабе, когда руки то и дело распускает. Вернулся в деревню и опять задурил. Нет бы в колхоз устроиться Илье на подмогу, ведь тоже в технике-то разбирается. Так нет же, запил и ничего, кроме водки, ему не нужно. Вся радость у него в ней. К тридцати годам уже подходит, а на седого отца не стыдиться руку поднимать. Выпьет и давай буянить. Кузьмич молча избу покинет, прой-

дется немного по деревне, подождет, пока тот не заснет, только потом вернется. Сам уже на рожон не лезет — Макар дурной, когда пьяный. Трезвый-то он спокойный, все больше молчит. И сколько это продолжаться будет, не известно. По трезвости понимает, что это к добру не приведет, а за ум браться не хочет.

Илья потушил папиросу. Ругать и говорить о Макаре плохо не хотелось. Старик и сам все прекрасно понимал. Разговаривать нужно с тем, с молодым меринном, да только тоже все без толку, как об стену горох. Да ведь ладно бы если Кузьмич плохим отцом был, пил, бушевал бы, другое дело. Мужики сроду не обидел, оттого и обидно. Илья хорошо его знал, они дружили. Тихий, рассудительный, весь в работе всегда. Как свою Тamarку схоронил четыре года назад, молчаливым каким-то стал. Тяжело ему, а тут еще сын праздники устраивает.

— Может, накатим помаленечку, а? — предложил Илья.

— Не надо.

— А то у меня есть.

— Ты же знаешь, я как-то не очень ее...

— Да я тоже не очень, — Илья тихонько вздохнул. — А вот сейчас бы немного выпил.

— У тебя чья? Никифоровой?

— Баклановых.

— Баклановы хорошую гонят.

— Хорошую.

— У тебя с собой, что ли?

— Дома. Да я схожу сейчас, — Илья поднялся.

— Да не надо, не буди никого.

— Я аккуратнo. Ты только это, Кузьмич, тут будь, не уходи пока. А я быстро.

— Да куда я уйду, — с хрипотой произнес тот.

Илья отправился к дому. Очень хотелось выпить с Кузьмичом, разговорить его немного. Он прекрасно понимал, как старику тяжело, а с Макаром завтра утром поговорит снова. Не дело это, когда сын на отца руку поднимает. Лишь бы пить бросил, а там с работой помог бы ему.

Только Илья зашел в избу, из комнаты послышался Маруськин голос:

— Илюш, ты?

— Гоголь.

— Кто?

— Да я это, кто же еще.

Илья разулся, прошел на кухню. Зашла Маруся:

— Чего не раздеваешься?

— Папиросы закончились. Посижу еще, покурю. Ночка-то, нынче, какая, а!

— Ты спать-то собираешься?

— Сейчас приду.

Илья достал из шкафчика неполную бутылку самогонки.

— А это зачем?

— Посмотри чего-нибудь в холодильнике, под закуску дай, — Илья убрал бутылку в карман. — С Кузьмичом сейчас немного посижу и приду.

— Чего это он, на ночь глядя-то? Опять, что ли?

— Опять-опять. Нарезь сала и огурчиков положи.

Маруся стала приготавливать для мужа закуску. Сала нарезала, огурцов да ржаного хлеба.

— В милицию его надо, дурака этого, сдать. Пусть там с ним разбираются.

— Сколько раз там бывал, толку-то.

— Мало, значит, был, — сказала Маруся, протягивая мужу закуску. — Не прятаться от него на улице надо, а в милицию сдать.

— Шибко все умные стали. Какой ни есть, а сын. Лешка-то наш подрастет, буяннить вдруг станет, тоже милицию вызывать будешь?

— Ой, ё моё, вот ляпнет не подумавши. Ты хоть подумай, прежде чем говорить.

— Растишь, растишь их, а потом кулаками вся благодарность. Скажешь, Кузьмич плохим отцом был? Вот то-то же. А во всем она вот, дрянь эта, виновата, — показал он бутылку. — Только она и виновата.

Илья принялся обуваться.

— Недолго только, ладно? — Маруся подала мужу кепку. Вообще-то она не переживала, потому как знала, что мужик у нее молодец. Работающий, спокойный, не пьет. А если, быва-

ет, и выпьет, то только на пользу. Работает день и ночь, да и крепкому здоровому мужику почему бы иной раз не выпить?

Кузьмич по-прежнему сидел на старом месте.

— А вот и я, — Илья присел на траву, положил рядом тарелку с закуской. Открыл бутылку, налил немного в кружку, протянул старику, затем налил себе. — Давай, чтобы все хорошо было.

— Никого не разбудил?

— Да мою хоть из пушки стреляй, не разбудишь, — махнул рукой, улыбнулся. — Ну, давай, Кузьмич.

Выпили, закусили. Старик задрал голову кверху.

— Звезды нынче как играют, посмотри-ка. Загаденье. Мы с Тамарой всегда любили гулять по вечерам. Выйдешь, пройдешься по улице, на небо посмотришь, а звезды перемигиваются-перемигиваются. Моя все любила считать их. Да разве их пересчитаешь, — Кузьмич улыбнулся, — вон их сколько, попробуй, пересчитай. А каждую звездочку знала. Ты вот знаешь их, названья-то? — Илья пожал плечами. — Вот и я не знаю. А Тамара все знала у меня. Все при все. Интересная была, веселая-веселая. А пела как! Ууу! Ну ты помнишь, да?

— Помню, конечно. Красиво.

— Красиво. Никто так в деревне не пел, как она. Запоеет, бывало, в поле, и душа радуется, и будто и не работал, столько силы сразу набегает, столько энергии. — Старик помолчал немного. — Ты с Марусей-то как познакомился? Она же вроде из Суворова?

— Из Суворова, — Илья достал папиросы, угостил Кузьмича, закурил сам. — Ну как познакомились, — улыбнулся. — Нас тогда в их колхоз посылали, а она дояркой работала. Короче, слово за слово и... Потом ездил к ней зиму-то, ну а весной уж к себе забрал, поженились.

— Не умеешь ты, Илюша, рассказывать, — улыбнулся по-доброму Кузьмич.

— Куда уж мне, — посмотрел Илья на старика и тоже улыбнулся.

— Ты наливай, наливай, — Кузьмич кивнул на бутылку. — Хорошая, какая, зараза. Давненько я уже не пробовал. Умеют Баклановы гнать, умеют.

Илья разлил по кружкам самогонку. Снова выпили, закусили.

— Тамара-то у меня была ведь тоже не отсюда, из Черемушек.

— Да?

— Да. Я там тоже какое-то время жил у них. Ты еще маленьким был. Поехали, значит, мы с Филиппом Кондрашовым в Черемушки, к тетке его. А тут ехать-то до них тридцать верст. Приехали, он ей гостинцы от матери передал, крошки с ним поели, ну, думаем, на прудик сходить надобно, рыбу посмотреть, а ближе к вечеру уж обратно. Закинули, значит, удочки, сидим, ждем. Клева нет, к-х, — Кузьмич слегка кашлянул в ладонь. — И вдруг видим, по другую сторону две девицы молоденьких подошли купаться.

— Тамара была?

— Ну, а кто же. Да ты не перебивай, не перебивай, ты слушай.

Илья улыбнулся и послушно кивнул головой. Ему даже приятно как-то стало, что смог разговорить старика.

— Мы с Филькой недолго думая удочки в сторону, разделись и в воду. А у меня же вся спина в шрамах после немцев-то. Так я прям в рубахе, — Кузьмич улыбнулся. — Подплыли, значит, к ним, а они на спине плавают, нас почему-то не замечают. Филипп же сроду стеснительный был. А я сходу прям, в какой стороне, спрашиваю у них, Америка находится, куда, мол, плыть. Моя-то сразу шутку поняла, насчет Америки не знаем, говорит, а вот Турция в той стороне. И показывает рукой на берег, откуда мы приплыли. Быстро с ними подружился. Тамара у меня же всегда разговорчивой и веселой была. И вот знаешь, Илюш, вот как увидел ее, так и полюбил сразу. Вот тебе крест. Никогда я таких добрых и живых глаз не видел.

— А вторая что за девушка была?

— Ой, я уж, если честно, Илюш, и не припомню. Олесей, по-моему, звали. Знаю, что замуж вышла да во Владимир уехала. А как звали, что-то и не припомню.

— Бывает. Я вот сослуживцев своих и то вспомнить порой всех по имени не могу. А ведь тоже три года бок о бок жили. И дружили-то как. А вот не вспомню, бывает, и все тут. Па-

мять, она такая.

— Умирала она тяжело у меня. Долго мучилась. Все никак не забирал ее Господь-то. Вот ведь тоже, всю жизнь людям добро делала, радость дарила, никого не обижала, никому зла не желала сроду, доброй души была. А животные ее как любили... Да все ее любили. А умирала в муках, — Кузьмич посмотрел на небо. — Зато теперь среди ангелов. И слава богу, что не увидела, каким теперь стал Макарушка наш, — у старика на глазах навернулись слезы. — Не выдержало бы ее сердечко, ой, не выдержало. Страдала бы, сколько бы слез пролила, как бы намучилась с ним. А так для нее навсегда хорошим остался.

— Кузьмич, — Илья положил на худое плечо старика ладонь. — Ну чего ты? Все хорошо будет. Все хорошо...

Кузьмич вытер слезы, отвернулся.

— Ты выпей, давай налью.

— Нет. Все, Илюш, спасибо, не буду. Пойду я к себе. Спасибо тебе.

— Может, у нас заночуешь сегодня, а?

— Да у меня что, дома нету, что ли, — старик поднялся, и Илья вместе с ним. — Спасибо тебе, Илюш, конечно, но пойду я.

Илья похлопал старика по плечу, проводил немного его взглядом и тоже двинулся к дому, по дороге размышляя о жизни. Вот ведь как, прожил человек жизнь, дожил до старости, любил, трудился, душу вкладывал в детей, а теперь от родного сына приходится прятаться.

Илья поднял голову к небу.

— А звезды нынче какие, а луна-чертовка.. Н-да, только с невестами и гулять.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Поезд сделал короткую остановку в пять минут, и в вагонах тут же засуетился народ. Кто-то выходил на станцию, а кто, наоборот, тихонько пыхтя, протискивался в поезд. Семен лежал на нижнем ярусе и читал книгу, когда с ним вежливо

поздоровались. Это был мужчина лет сорока — сорока пяти, приятной внешности, ухоженный, с добрыми глазами. Даже легкая седина на висках не старила его, а, наоборот, украшала, предавая зрелости. Почему-то Семену сразу же подумалось, что тот непременно работает врачом, каким именно, конечно, сразу не скажешь, но что врачом — наверняка.

— Игнат, — представился сосед и слегка улыбнулся.

— Семен, — представился парень, и они обменялись рукопожатием.

Мужчина разложился поудобнее на соседнем нижнем ярусе. Огромную черную сумку он убрал под сиденье, а маленькую серенькую положил рядом перед собой.

— Тоже до Москвы? — поинтересовался он.

— Ага, — кивнул Семен, посмотрел немного на соседа и прикрыл книгу. — Так-то я нижегородский, домой еду... С Казанского сяду, восемь часов — и дома, — Семен слегка улыбнулся. — Сам откуда?

— Москвич.

— Интересный народ.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Как и везде... Служивый, что ли?

— Ну, — паренек провел ладонью по короткой стрижке. — Все. Дембель.

— Поздравляю!

— Четвертые сутки в этом вагоне трясусь, туту-туту, скорее бы, — последнюю фразу Семен произнес полупшепотом.

— Два года терпел, а тут уж и подавно выдержишь, — Игнат потер подбородок. — Не желаешь пригубить, так сказать, немного?

— Не откажусь.

— Тут у меня где-то коньячок завалялся. Вот и обмоем твой дембель, — мужчина открыл серую сумку.

— Да я уж здесь в первый день наобмывался. Хех. Ребята сверху до Новосибирска ехали, — Семен кивнул головой на верхний ярус. — Выпили, стали песни орать. Проводница пришла ругаться давай. С характером, зараза.

— Ну, ругаться не надо. Спокойнее нужно быть.

— И я об этом же, ругань ни к чему.

Игнат достал бутылку коньяка, немного пошвырявшись в сумке, достал пакет с нарезанной колбасой.

— Шоколада... — положил он колбасу на столик рядом с бутылкой, — шоколада, говорю, нет, будем так. Мне, кстати, и колбасой нравится закусывать.

— Да бог с ним, — Семен махнул рукой. — Мне это сладкое уже вот здесь, — провел ладонью у горла, — на одну сгущенку глаза век смотреть не будут.

— Понимаю, — Игнат улыбнулся, взял бутылку, разлил. — Ну, давай, солдат, за дембель!

— Давай, — чокнулись, выпили, закусили. Поставив стакан ближе к бутылке, Семен бросил взгляд в окно, где маячили телеграфные столбы, бескрайние поля, лесочки на заднем плане, ярко светило солнце, природа радовала глаз зеленью, и на душе сразу как-то делалось по-весеннему тепло и приятно. — Эх, до чего же хорошо.

— Ну да, коньяк ничего пошел, приятно.

— Да я не об этом. Вокруг хорошо. Солнце, небо, зелень... красота-а! — Семен немного призадумался. — Все-таки правильно говорят — уходить в армию лучше по осени, а приходиться весной. Да разве сердце выдержит... Это когда тебе еще год служить, не задумываешься больно-то, а когда семьдесят дней до дома, да ты в наряде, а тут такая красота... измучаешься весь. В феврале-то с ума сходишь, не то чтобы уж про август говорить. И ведь что самое интересное, Игнат, тоска, она и начинает мучить по-особенному, когда тебе остаются какие-то считанные деньки. Первые полгода гоняют как сидорову козу, тут не до тоски. Потом привыкаешь, втягиваешься потихоньку, приходят молодые, расслабляешься, и вроде служить-то еще целый год, а не задумываешься особо. А вот когда деньки-то приближаются и можно месяцы по пальцам на одной ладони пересчитать, тут уж да, тут уж тоска и начинает просыпаться. Все уже надоело, ничего не охота, а служить еще три месяца. Караул. Если поначалу недели не замечаешь, пролетают в нарядах, только глазом успевай моргнуть, то под дембель денечки тянутся как резинка из-под трусов. Тоска по дому гложет и гложет.

Игнат взял бутылку и снова разлил. Семен тяжело, печаль-

но вздохнул. То ли коньяк так быстро на него подействовал, то ли и правда душу что-то тревожило, что хотелось говорить. И говорить про армию. Это понятно. О чем же еще мог сейчас беседовать этот двадцатилетний парнишка, когда только недавно сменил сапоги на кроссовки.

— И вот стою я, значит, в умывальнике перед отбоем, брешу, а завтра вечером поезд. Домой. Гляжу в зеркало на себя, и так сердце сжало, так горько и печально сделалось, что готов был прослезиться. Ведь все это я больше никогда не увижу. Больше никто не разбудит меня криком «подъем», не будет больше ни прапоров, ни ротного, ничего этого больше не будет. И как бы я всю службу ни проклинал и как бы ни рвался домой, а вот в ту самую минуту так горько мне сделалось. Не поверишь. Печально стало, что уезжаю. Уже другая тоска трепанула душу. Что ни говори, а все же два года я в этой казарме прожил, в столовую ходил, на посты... да и ребят больше наверняка не увижу. Прощались, радовались, дембель, а на душе тоскливо. Вроде бы и радостно, а в то же время и грустно. И каждый из нас понимал: разъедемся, и поглотимся в суетливый омут жизни. И не будет ничего всего этого, не будет лиц, к которым привык за два года, не будет ничего.

Игнат посмотрел на паренька, на худое лицо его, на крепкие жилистые руки и, вздохнув, промолчал. Вспомнил себя, когда пятнадцать лет назад так же возвращался со службы домой. И тоже в душе творилось что-то непонятное, что-то такое, чего словами не передать.

— Что-то ты о грустном заговорил, брат, — Игнат протянул пареньку стакан с коньяком.

— И не говори, — Семен принял выпивку. — Давай за родителей.

— Давай, — чокнулись, выпили, закусили. — Чем собираешься на гражданке заниматься?

— Пока не знаю, — пожал плечами, — отдохнуть надо.

— Смотри не загуляйся.

— То есть?

— Поступать не думаешь в институт?

— Да нет, говорю же, отдохнуть надо. А через годик можно и поступить. Учиться, конечно, надо.

— Надо. Ты деревенский?

— Ну.

— И я тоже из деревни...

— А говорил, москвич.

Игнат улыбнулся.

— Да у нас пол-Москвы кто из Брянска, а кто из Махачкалы. И все москвичи. Лишь бы прописка была.

Семен кивнул головой.

— Отслужил, домой вернулся в девяносто втором, загулял немного. Да как немного, хорошо загулял. В деревне работы нет, в городе беспредел один. Молодежь вся в группировки подалась да в город рванула. Сейчас все на кладбище обитают. Больше двадцати пяти и не пожили. А я три года пил по-страшному, дурью маялся. Все, думал, сопьюсь. Ничего порой в голову не лезло, даже жить не хотелось. Потом Людмилу встретил. Видно, есть все-таки Бог, не дал согнуть. Люда, она, конечно, молодец, сильная, она...

— Жена?

— Жена. Двоих сыновей растим. Никитка да Сережка. Младший в следующем году в школу пойдет, — Игнат призадумался немного, взял бутылку, открыл, стал разливать.

Проводница, что шла мимо, остановилась. Крепкая черно-волосая женщина с густыми бровями, как у Брежнева, недобро посмотрела на Семена.

— Смотрите, тихо тут, не горланьте больше, а то быстро ссадим, — сказала и тут же удалилась.

— Ух ты, гляди, какая, — паренек скривил улыбку. — Что же, теперь и выпить нельзя?

— Да брось ты, не обращай внимания. Невеста-то есть?

— Есть, — Семен улыбнулся. — Оксаной звать. Дождалась.

— Значит, любит. Поженитесь. Все у вас хорошо будет.

— Дай бог.

— Все же мужик, когда женат, не так дурью мается, как холостой. Что ни говори, а без женщин пропали бы. Хрупкие они, безобидные, а столько силы в них, что у нас этой самой силы нет. Все выдержат, все могут, иной раз у нас руки опустятся, а у них — нет. Сила, она ведь не здесь, — Игнат похлопал Семена по плечу, — а тут, — положил ладонь на грудь. —

А мы их обижаем, — Игнат тихонько вздохнул. Взял стакан, выпил. — Переписывались?

— А то, — Семен тоже выпил. — Только этим и жил. Тяжело, конечно, вдвойне, когда девушка на гражданке ждет. Душа вся износится. Но она у меня хорошая. Пацаны все удивлялись, зачем, мол, пишу, сотовый же есть, и так каждый день разговариваем. А я им: не понимаете вы, говорю, ничего не понимаете. Письмо-то получу, так я его раз двадцать прочитаю, каждое словечко, каждую строчку наизусть помню, и от листка самого ее ладонями пахнет. Сложишь, уберешь в карман, и будто рядом она с тобой, все же какая-никакая, а ее частичка присутствует.

— Это ты верно говоришь, — Игнат тихонько кивнул и еще раз повнимательнее посмотрел на соседа. Красивый юноша, не избалованный жизнью и не сломанный армией. Слушаешь его, и как-то даже тепло, что ли, на душе становится, хорошо. И тут же охота пожелать ему настоящего человеческого счастья. Чтобы не испортила, не измучила гражданская жизнь, как бывает часто.

Семен отвернулся к окну и задумчиво уставился вдаль. Перед глазами стояла Оксана. Ее милое, нежное, как утренняя роса, и веселое, как лучик солнца, личико. Слегка курносая, рыжеволосая, с крошечными веснушками у носика. И глаза — добрые-добрые. Смотришь в них и чувствуешь всю нежность ее, всю доброту. И сама она добрая-добрая, в жизни, наверное, таких людей не бывает. Всех жалела, всех любила своим добрым сердцем. Выйдешь, бывало, с ней вечером на прогулку, а она голову склонит и тихо так, полусшепотом: «А у бабы Тамары корова отелилась. Только вот теленочек двух дней не пожил. Умер. Слабеньким родился. Жалко». Подумаешь про себя: ну что же, бывает. Люди гибнут, а живность и подавно. А слушаешь, как она скажет, заглянешь в ее глаза, и так жалко самому становится этого теленка, будто сам его под сердцем выносил. Никому ни в чем не отказывала. Всем во всем помогала, только попроси. Да и просить иной раз не надо, сама помощь предложит. Доверчивая очень, потому и обижали, бывало, ее же ровесницы. Завидовали красоте ее неземной. Редко в жизни так бывает, чтобы красота и доброта в

одном человеке ужились. За то и полюбил ее Семен, всем сердцем полюбил. Сильно. Горячо. Все два года о ней только и думал. Даже сейчас, уже в поезде, а сердце не перестает ныть и образ ее перед глазами.

— Чего загрустил опять? — потревожил воспоминания Игнат. — Пойдем, покурим.

Отведя взгляд от окна, Семен тихо вздохнул и, прихватив со столика пачку сигарет, отправился курить.

Проведя на Казанском вокзале несколько мучительных часов ожидания, Семен наконец-то сел в поезд. Еще несколько часов трясясь в вагоне, думал о доме и о любимой. Наконец вот они, родимые места, знакомый вокзал. Сойдя с поезда, паренек глубоко вдохнул. Боже, наконец-то приехал. Еще каких-то сорок километров — и дома. Обнимет мать с отцом, увидит и расцелует свою любимую. Так хорошо, так горячо стало на сердце, и в то же время терпение не давало покоя. Медлить нельзя.

В ближайшем цветочном киоске Семен купил для невесты цветы и подошел к таксисту.

— До Глухова довезешь? — поинтересовался он.

— Пятьсот рублей.

— А чего так дорого?

— Дешевле никто не повезет, — только и ответил таксист.

Семен махнул рукой, отдал деньги и сел в машину. Таксист оказался человеком не молчаливым. Всю дорогу, не переставая, рассказывал о рыбалке и жаловался на плохие дороги. Но солдатику уже было не до разговоров, и он молча отвернулся к окну. Где-то на полпути их резко обогнала иномарка, несясь с огромной скоростью.

— Ты гляди, что вытворяет! — воскликнул шофер. — На тот свет скорее хочет. Все там будем, успеешь!

— Возможно, торопится.

— Ха, торопится. Вот из-за таких и бывают аварии на дорогах, — таксист приспустил окно и, не спросив разрешения у паренька, закурил. — Случай был, давно, правда, знакомый у меня один, хороший знакомый, к жене в роддом ехал. Дочь родилась. Тоже вот так вот несся сломя голову, ну и что думаешь — разбился, не доехал. И жену вдовой, и ребенка сирот-

той оставил. Вот и думай после этого, дорога таких не любит.

Семен посмотрел на спидометр, который показывал семьдесят километров, и снова отвернулся к окну, где мелькали березы и время от времени придорожные памятники, напоминающие о трагедии. Сколько же их много. Стоят себе молча, никого не трогают, но как бы своим присутствием напоминают водителям: сбрось скорость, не торопись.

И наконец родное село, вот он, родимый дом. Паренек, поблагодарив таксиста, вышел из машины. Рядом с домом стояла соседка и посматривала куда-то вдаль. Семен подошел к ней тихонько и обнял за плечи.

— Равняйся! Смирно! — улыбнулся дембель. Настроение снова поднялось. Хотелось радоваться и плясать. Соседка обернулась и уставилась на паренька тревожными растерянными глазами. — Баб Маш, ну вы чего, не признали, что ли?

Женщина, молча, с какой-то непонятной тревогой смотрела Семену в глаза.

— Баб Маш, ну чего вы, словно призрака увидели. Хех. Вот тебе и раз. Вот так и рады. Разве так из армии встречают? — паренек улыбнулся.

— Семен, — еле слышно произнесла старушка.

— Ну, наконец-то узнали, — парень кивнул на дом, — мой-то дома, не знаете?

Старушка медленно посмотрела на дом, затем снова на молодого соседа и отвела взгляд в сторону. Впереди на дороге показалась грузовая машина и люди в черных платках.

— Умер, что ли, баб Маш, кто? — серьезное лицо паренька уставилось вдаль. Соседка промолчала. — Баб Маш! Кого хоронят-то?

Старушка повернула морщинистое лицо, и в ее глазах блеснули слезы.

— Баб Маш, хоронят-то, говорю, кого?

Но старушка по-прежнему не проронила ни слова, только с невыносимой грустью и скорбью смотрела на паренька. Семен заволновался и стал пристальней всматриваться в толпу. Уж не из знакомых ли кто? Впереди рядом с машиной с неживыми лицами шли родители Оксаны. Но ее рядом с ними не было. Семен с невыносимой тревогой пробежал взглядом

по толпе. Под сердцем больно кольнуло. Оксаны нигде не было.

— Боже, да неужто она в гробу? — еле слышно, с болью в голосе произнес паренек и, еще раз посмотрев на старушку, по ее глазам догадался, что это так. Хоронили Оксану. Мужчины, дети, женщины в траурных платках медленно шли за машиной, из которой тихонько ложились на асфальт еловые ветви. Провожали всем селом. Плакали многие. Кто-то медленно шел за машиной, кто просто покидал свои дома и выходил к дороге, и все со слезами и с болью провожали в последний путь девушку, доброту и нежность которой познал каждый.

Машина с гробом медленно проехала мимо них. Из толпы показались родители Семена. Заприметив сына, тут же двинулись к нему.

— Семочка, миленький, сыночек, горе-то какое, горе, — мать со слезами обнимала сына, целовала, плакала. — Ты только держись, родненький, только держись. — Женщина не переставала плакать. — Господи, господи.

Отец стоял рядом, успокаивал жену и с болью смотрел на сына. Семен обнял родителей и заплакал. Большие слезы покатались по щекам. Рука дрогнула, красивый букет упал на холодную землю. Семен поднял его, отряхнул, и вытирая слезы, отправился за машиной. Внутри творилось черт-те что. Душа вся выворачивалась и редела от боли. Да как же так? Да за что же! Семен одурманенный болью и горем медленно шел за толпой гневя и проклиная все на свете. Ниужто он больше никогда не увидит ее нежных и добрых глаз? Как же так? Неужто никогда не услышит ее ласкового голосочка? Неужто никогда?! Никогда. Какое это страшное слово. Паренек остановился, присел на асфальт и заплакал.

Позже от родителей Семен узнает, что какой-то пьяный лихач на машине среди бела дня, несясь как сумасшедший, сбил Оксану на тротуаре, когда та шла к почтовому ящику, чтобы отправить письмо любимому солдатику. Семен долго перечитывал ее последние в жизни строчки и тихонько плакал. В конце письма стояло: «Ну вот, любимый, наконец-то мы снова будем вместе».

СМЕРТЬ ДРУГА

Степан Иволгин сидел за столом. Он не торопясь наливал из трехлитровой банки самогон в железную кружку, опрокидывал ее залпом, закусывал малосольным огурцом, а потом печально смотрел в распахнутое окно. На улице было хорошо. Свежо. Пахло сеном. Спелые яблоки красовались в саду, и полосатые пчелы кружились над цветами. Чудесный день. В такие дни выйдешь на крыльцо, вдохнешь полную грудь воздуха, и охота плясать, прыгать, радоваться... охота жить. Но сейчас Степану ничего не хотелось. Хотелось плакать, но он не плакал. Молча смотрел на банку и в окно. Вчера, ближе к вечеру, умер его друг Николай. Хороший, добрый, всегда веселый, и вот на тебе... Умер. Здоровый был, ни на что никогда не жаловался, казалось, век проживет, а нет, инсульт. Выпивал, конечно, не без этого. Работящим был, здоровенным, быка с ног свалит. И нету...

Степан снова взял широкими мозолистыми ладонями банку и налил в кружку. В избу вошла жена Марфа. Она посмотрела на мужа, на банку и, ничего не сказав, тихо вздохнула. В другой день давно бы уже шум подняла, горластая баба, но сейчас знала, к мужу лучше не лезть. Ей и самой Николая жалко. Веселый был мужик. До того веселый, страх. Надя, жена его, как-то рассказывала: придет, бывало, домой пьяным, спросишь его, где, мол, был, тот и начнет рассказывать, как соседнюю деревню от пожара спас, как пришельцев видел, потому и пришлось с ними выпить, или песню какую споет. Послушаешь, и обида пропадает. Рассказывать Коля любил, красиво говорил, складно, интересно, смешно. Пили только со Степкой, оттого и ругалась с ними без конца. Теперь, конечно, жалко его было.

Степан опрокинул кружку, тихонько крякнул, мотнул головой, вздохнул.

— Вот ведь как, — тихо произнес он.

Марфа подогрела картошку, поставила на стол, нарезала хлеба, сала, положила перед мужем. Степан толстыми пальцами взял розовый кусок сальца и положил в рот.

— Вот ведь как, — снова вздохнул. — Завтра с ним на рыбалку в Черемушки собирались. — Немного помолчал. Вздохнул. — Вот ведь как.

— Сколько ему было? Сорок шесть?

— Сорок семь. На два года постарше был.

Марфа тоже тихонько вздохнула:

— Молодой.

Степан кашлянул. Снова попробовал сала. Помолчали.

— Ванечка с Зиной что-то давно не писали, уж не случилось ли чего? — с печалью и тревогой в голосе сказала Марфа. Говорила про детей. Те живут в городе, обзавелись семьями и давно уже не навещали родителей.

— Все нормально у них там.

— А ты знаешь!

— Знаю, — ответил Степан. — Им ведь сейчас, когда плохо, только мамка нужна, а как хорошо, и не вспомнят.

— К Зиночке съездить бы надо, — не унималась жена.

— Съездим.

Степан снова налил в кружку и молча отпил немного. Выпил уже достаточно, но не пьянел, не брало. Закусил картошкой, огурцом и снова уставился в окно. Достал из кармана рубахи папиросу, подвинул поближе блюдце, закурил. Марфа молча встала и ушла в комнату. Степан сделал большую затяжку, выпустил изо рта и ноздрей дым и стряхнул пепел. На душе было тяжело. Больно. Он никак не мог смириться с мыслью, что Николая нет. Вот был, и теперь нет. Жил человек, смеялся, работал, вот так же из окна любовался яблоками, пчелами, облаками, а теперь его нет. Вот ведь как. Ушел. А куда ушел, куда? Не известно. Оттуда еще никто не возвращался, и никто не говорил, как там, стоит туда уходить или всеми силами держаться за эту жизнь. Плохо там, хорошо ли? А может, и вообще ничего и нет. Степан потрогал на груди крестик, посмотрел на икону. Страшно как-то немного стало. Жизнь человека хрупкая, как ваза. Но вазу собрать можно, склеить, а жизнь, коль уж разбилась, не соберешь и не склеишь. Был человек, и нету. Только позавчера с ним под яблоней у Гришки сидели, выпивали, только позавчера говорили о жизни, о рыбалке, слушал его смешные истории, только по-

завчера... а сегодня, сегодня он лежал в гробу. Спокойный такой, красивый, будто спал, хотелось толкнуть его в плечо, разбудить. Но он не спал. Вот ведь как бывает. Степан сделал глубокую затяжку. Было чертовски плохо на душе, даже самогоном невозможно было потушить огонь, который разгорелся внутри. Душа пылала. Это всегда так, когда кто-нибудь умирает. Степан это знал. Когда отца с матерью схоронил, тоже боль душила, совесть мучила и пыталась, потому как редко к ним заезжал. Всегда так. Жив человек, о нем как-то и не думаешь, жив и жив, а умрет, и тоска сразу и совесть просыпается, что столько лет не навещал. Н-да.

Марфа вышла из комнаты.

— Пойду до Клавки дойду ненадолго.

— А?

— К Бунтовым говорю, схожу. Приду скоро.

— Иди.

В дверь постучали, и в избу вошел Василий, сосед через два дома.

— Добрый день, — поздоровался он с Марфой, столкнувшись с ней у двери.

— Добрый... проходи, — она надела калоши и вышла из дому.

— Здравствуй, Степ.

— Проходи, садись.

Василий присел рядом. Степан потушил окурок о дно блюда, сходил за второй кружкой, разлил самогон.

— Помянем Кольку, — предложил он.

— Давай, — Василий взял кружку. Выпили не чокаясь. Закусили. Немного помолчали.

— Вот ведь как бывает, — вздохнул Степан.

— Судьба, — ответил сосед.

— Судьба, — снова вздохнул тот.

— Я к тебе чего зашел-то, Сережка в район собрался, у тебя канистры с бензином не будет? Вечером придет, привезет.

Степан кивнул.

— На рыбалку с ним завтра собирались.

— А?

- С Колькой говорю, рыбачить хотели завтра.
- А. Ну да, да, — вздохнул Василий. — Н-да.
- Был у него сегодня?
- Заходил.
- Вот ведь какая штука жизнь. Сейчас с тобой тоже пьем, а завтра, может, меня не будет, — Степан ударил себя кулаком в грудь, — или тебя.
- Пойдем, дашь бензину, Сережка торопится...
- У Гриньки только позавчера сидели, тоже пили, а сегодня вот, — Степан развел руками. Ему хотелось говорить и говорить, выпитый самогон давал о себе знать. — А сегодня в гробу. Вот ведь как...
- Степан, Степан!
- А, — посмотрел на Василия тот.
- Дай бензину. Сережка торопится. Я попозже к тебе еще зайду.
- Да-да.
- Они вышли из-за стола и отправились в гараж. Степан достал из угла канистру, отдал соседу.
- Вот спасибо. А он вечером приедет, завезет.
- Слушай, скажи ему, пусть веноч купит. Сейчас Марфа придет, я денег дам.
- Потом отдашь. Вечером. Ладно, а то торопится. Я скажу ему, спасибо, сосед.
- Василий ушел. Степан закрыл гараж и зашел обратно в избу, сел за стол.
- Вот ведь как бывает.
- Он тяжело вздохнул, протер толстыми пальцами влажные глаза и снова взял в руки банку.

ХМЕЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ НА ЖИЗНЬ

Артем медленно шел по сельской пыльной дороге, изредка оглядываясь по сторонам. Голова невыносимо гудела, а на душе и вовсе было паршиво. Нужно было срочно опохмелиться. За вчерашнее хорошее веселье по утрам обычно приходится расплачиваться. Денег не было. Оставалась только одна ма-

ленькая надежда, что Наталья, продавщица магазина «Радуга», будет в хорошем настроении. Ведь, как говорится, надежда умирает последней. А голова действительно раскалывалась, и ей было вовсе не до того, чтобы думать, где бы найти денег.

У входа Артем еще раз попытался привести себя в порядок. Растер ладонями помятое лицо, причесался, отряхнулся и, набрав полную грудь воздуха, шагнул в магазин. У прилавка стояли двое: Санька Коробов и Зинаида Петрова, вредная, как всегда казалось Артему, женщина. Любопытная и вредная. У той самой мужик выпить был не дурак, и потому она с презрением относилась ко всем пьянчугам. Артемка таковым себя никогда не считал, но в глазах Зинаиды Петровой был именно таким. Потому-то они и недолюбливали друг друга. Поздоровавшись с Сашкой и, отведя взгляд в сторону, он быстро продвинулся немного вперед. Наталья, по-видимому, была в хорошем настроении, улыбалась, лепетала легким звонким голоском. Но все равно при всех просить ее дать займы бутылку, бесполезно. Не даст. И потому-то, слотнув слюну, принялся разглядывать колбасные изделия. Александр расплатился и, забрав пакет с продуктами, покинул магазин. А вот Зинаида спешить, по-видимому, не слишком торопилась. Она всегда была очень медлительной.

— Взвесь-ка мне, Наташа, «ромашек» грамм триста и с полкило пряников овсяных.

Продавщица принялась взвешивать конфеты и пряники.

— Ко мне ведь внук приехал.

— Да ты что?

— Ага, — улыбнулась Петрова. — Вот сейчас с ним чаю и попьем. Он все в лагерь просился, а я Ваньке своему сразу сказала — никаких лагерей. Это при живой-то бабушке? — Наталья с Зинаидой улыбнулись. — Неужто я за внуком не угляжу? Знаем мы эти лагерья, ничему хорошему там не научат. У нас здесь у самих чем не лагерь, а? И река рядом, и ребяташек много, только играй. Не-ет, все-таки детям, пока они маленькие, интереснее в деревнях жить, ну, а как уж подрастут, тут, понятное дело, нужно и город познать. Верно ведь?

— Все правильно, — согласилась Наталья.

Артем покосился на Петрову.

«Ну-у, затарахтела, — пронеслось в голове у того, — теперь не угомонится».

— Тебе ли, Наташенька, не знать, ты же у нас городская...

— Ну, какая я городская? Скажешь тоже.

— Ну а как же? Все до тринадцати лет в Арзамасе жила, — Зинаида улыбнулась. — Чай, поди, девчонкой не бегала так по городу, как у нас по селу малышня носится. — Наталья тоже улыбнулась. — Во-от! Сережка у меня, не успел приехать, а уже купаться просится. Сейчас, говорю, чайку попьем, и с Сорокиными на Ламовку съездишь.

— Господи, — еле слышно вздохнул Артем. Дрожащие ладони он спрятал в карман. Его слегка потрясывало.

— Ой, дай еще чаю. Малиновый есть?

— Есть. Вот хороший, — Наталья достала из-под прилавка коробку чая.

— Ну и все, пожалуй, — Зинаида достала кошелек и покосилась на Артема, тот, заметив ее нехороший взгляд, тут же отвернулся и стал пристально разглядывать колбасу. — Ох, Наталья, — произнесла она тягучим печальным голоском. — Мой-то ведь опять запил.

У Артема по спине пробежал холодок. Он даже выпрямился от услышанного.

— Не надо, — еле слышно произнес он.

— Ой, я уж прям и не знаю, что с этими пьяницами делать. Ни черта, ни бога не боятся. Никого. Ни о ком не думают. Пьют и пьют, пьют и пьют.

Артем слегка даже побледнел. Молча, слушал, похлопывая глазами.

— Мой придет, брать будет, ты ему не давай.

— Ну как я не дам? — Наталья виновато посмотрела на Петрову. — Не имею права.

— Да понятно, — вздохнула та. — На семью у них денег нет, а на эту дрянь находят. Тьфу!

— Вот собака, — буркнул про себя Артем и, немного сгорбившись, положил правую ладонь на щеку. — Все. Не даст.

— Ладно, Наташ, пойду я, а то вон, поди, Артемка колбасы

хочет купить, — и, посмотрев на того хитрющими довольными глазами, она покинула магазин.

— Тебе колбаски, Артем? — Наталья пошла в его сторону. Тот слегка вздохнул и, приподняв помятое лицо, посмотрел на нее просящими глазами. — У-у-у, чего тебе?

— Дай бутылочку, а?

— Плати в кассу, подам.

— Ну, ты же знаешь, я отдам.

— Все, Артем, не клянчи, все равно не дам, — было видно, что настроение Зинаида той немного подпортила упреком.

— Наташ?

— Все. Или плати, или уходи.

— Да подохну я сейчас, ну дай, а?

— Лопать не надо, и подыхать не будешь.

— Ладно бы если не отдавал. Всегда же отдаю! Наташ?

— Артем, вот ведь смотрю я на тебя, и жалко мне. Жалко тебя, дурака. Ну чего ты пьешь, ну чего тебе не хватает, а? — Наталья посмотрела на него пытливым жалеющим взглядом. Артем отвернул лицо в сторону, не стал смотреть в ее глаза. — Когда же ты за ум-то возьмешься?

— Димка в субботу приедет, я тебе отдам. Он уже отцу звонил. Я с ним в понедельник опять в Нижний поеду.

— Надолго ли?

Артем пожал плечами.

— Дай, а? Ну бутылочку, ну я же больше не попрошу, Наташ. Ну что ты меня не знаешь, что ли? Ладно бы не отдавал, другое дело. Я же отдам, ты же знаешь, отдам, — для убедительности он протянул ей свою ладонь, которая тряслась, как под музыку. — Вот, гляди.

— Убери свои пакли, — Наталья махнула рукой, подала бутылку. — На! Мертвого достанешь. Смотри у меня, в субботу не отдашь сто семьдесят, больше даже не подходи.

— Я тебе двести, Наташ, отдам. Вот спасибо, — Артем собрался уже уходить, как вдруг остановился и спросил: — Дай чего-нибудь закусить, а?

Наталья дала ему пару сухек, и тот направился к выходу. Зайдя за угол магазина, он трясущейся рукой откупорил пробку и прямо из горла влил в себя половину бутылки. Мотнул

головой, закашлялся, закричал, ладонью закрыл нос, перевел дыхание. Достал из кармана сушку, надкусил, убрал обратно. Снова глотнул немного из бутылки, закупорил, убрал за пазуху рубахи. Внутри стало немного полегче, хотя голова все еще болела. Медленно направился в сторону реки, где за листвой деревьев тихо шумела и играла Вичкинза.

Все-таки Наталья его частенько выручала, да и он в свою очередь тоже старался ее не подводить. Как-никак бывшие одноклассники. Артемка-то до девятого отучился и сразу ушел, а она одиннадцать классов окончила. Даже встречались какое-то время. На свидание к друг другу бегали. Целовались за школой. Но то была юность. Теперь Наталья замужем, сынишка в третий класс пойдет, да и у Артема, если бы не пил, все могло бы сложиться по-иному. Так он парень хороший, тихий, спокойный, что трезвый, что выпивший, не буйнит. Бывало даже, наоборот, молодежь его самого поколачивала ночью у магазинов. Ясное дело, он один пацанам девятнадцатилетним ничего не сделает. Да и никто за пьянчугу не пойдет, все это знают, вот и разминают иной раз на нем кости. Как-то сам он, того не замечая, превратился в пьяницу, хотя таким себя по-прежнему не считал. Ну и что, что больше недели без выпивки не может, ну и что, что пьет по-страшному, а не пьяница, и все тут. Захочет, как он всегда твердит, так сразу бросит, просто пока ни к чему ему это. Работал он в Нижнем Новгороде. Вернее, работал у него там на стройке дядька по матери, Дмитрий Иванович. Был бригадиром у каменщиков. Брал с собою Артема подработать разнорабочим. Работа, большого ума не требующая: принеси-подай. Да и там Артем долго не задерживался. Хотя, пока не пил, трудился хорошо, без упреков и замечаний, но недолго. Поработает дней десять, возьмет у дядьки аванс и прямиком домой, гулять и шиковать. Обычно недели через полторы Дмитрий Иванович приезжал к ним домой, отдавал сестре деньги, заработанные Артемом, и забирал того обратно в город. Жалко ему было и сестру, и племянника непутевого. У себя он устроиться никак не мог, ясное дело, кому такой работник нужен. Вот и помогал ему дядька, все-таки не чужой.

— Эх, Тёмка, Тёмка. Вот смотрю я на тебя и никак понять

не могу, что ты в этой дряни находишь, что она тебе дороже всего на свете стала. И матери твоей дороже, и отца, да и тебя самого. Дурак ты, одним словом. Отучился бы на каменщика и работал у меня в бригаде, такие бы деньги зарабатывал вот этими самыми ручищами, — Дмитрий Иванович брал его ладонь и укоризненно добавлял, — а не валялся бы под забором, как свинья. Э-эх, жениться тебе надо, может, тогда хоть за ум-то возьмешься.

— Нету подходящей, — отвечал племянник.

— Чего? — дядька, не скрывая удивления, улыбался. — Это какую тебе такую подходящую-то подавай, а?

— Вот как Деми Мур. Вот на ней бы я женился прямо сейчас.

— Хех, так она уж для тебя старая.

— Женщина не может быть старой, — рассудительно пояснял Артем. — Что раньше и что сейчас, все равно красавица.

Дмитрий Иванович посмеивался:

— Брось для начала пить, а там уж мы с мужиками в Нижнем тебе и Деми Мур найдем, и Натали Портман.

— Брошу, чего же не бросить, — как всегда уверенно отвечал племянник.

Артемка увидал впереди своего учителя физкультуры Потапова Алексея Михайловича и решил свернуть. Не хотелось ему попадаться на глаза. Он всегда того уважал за здравый ум и за огромную силу воли. Еще в школе Артем увлекался лыжами и ходил к нему на секцию. Алексей Михайлович всегда был спортивным, вел здоровый образ жизни и в свои годы мог дать фору любому молодому. Артем еще разок коса глянул на его седую голову и перешел на другую сторону.

— Чего пошатываемся? — послышался впереди веселый голосок. Это был Макар Ильич — давний приятель отца, смешной старичок. Он сидел на скамейке возле своего дома, держа в руке полторашку пива. Артем присел рядом.

— Есть, что ль, закурить?

— Отчего же нету? Есть, — улыбнулся тот и, достав из кармана «Беломор», угостил приятеля и закурил сам. — Откуда идешь?

— К Наташке ходил, — он достал из-за пазухи бутылку. —

Сам-то будешь?

— Не откажусь, — Макар Ильич глотнул немного из бутылки. Артем предложил ему сушку, но тот отказался, громко выдохнул и затянулся папирсой. Тот тоже немного выпил, закрыл бутылку, убрал под лавку. Артем уже начинал пьянеть. Глаза становились мутными. Старик протянул ему пива, тот угостился.

— Ну вот, — вздохнул он, поглаживая свою грудь, — теперь гожа.

— Понятное дело, — усмехнулся Ильич, — zenки залил, отчего бы нехорошо.

— Макар, ты все шутишь?

— А что мне не шутить.

— Вот я тебя, коль честно, никак понять не могу. Сам ведь пьешь, а над другими посмеиваешься.

От услышанного Макар Ильич закатился смехом.

— Чего лошадю заржал? — Артем даже немного обиделся.

— Это, извини, — Ильич по-прежнему улыбался, — над кем я посмеиваюсь?

— Надо мной, к примеру. Сам, говорю, пьешь, а все шутишь. Достал уже.

Старик пару раз затянулся и потушил окурок каблуком ботинка. Серьезно, уже без улыбки посмотрел на соседа и слегка вздохнул.

— Эх, Артемка-Артемка. Да я в твои годы и вовсе не знал, что такое вино. Пахал как конь с рассвета до заката. А ты говоришь... мне теперь уже можно, как говорится, и душу немного отвести. А вот ты, — показал на него пальцем, — мерин такой, шел бы работать, чем глотку луженую заливать.

— Так я работаю.

— Ага, я вижу.

— С дядькой снова в Нижний на днях еду работать, — в голосе Артема звучало оправдание, дескать, он не такой, как о нем думают, а действительно работающий.

— Толку твой Нижний, через неделю снова в Дивееве будешь. Пить лучше бы бросил.

— Вот заладили: бросил бы, бросил бы. Захочу и брошу. Только ни к чему мне пока это. Ясно? — Артем немного стал оби-

жаться. Он вообще не любил, когда его стыдили. Ну ладно там мать с отцом, ну дядька, это еще можно понять, но когда другие учить берутся, невыносимо слушать. И ведь кто? Ильич. Сам пьет, а туда же. Не-ет.

Артем достал из-под лавки бутылку открыл и протянул старику. Тот отказался.

— Я уж как-нибудь пивком.

Артем выпил немного, закрыл и убрал за пазуху.

— Ну чего ты сердишься? — он посмотрел на Ильича пытливыми глазами. Тот промолчал. — Ладно, пойду я потихоньку.

Артем поднялся с лавки, еще раз попрощался со стариком и двинулся на тротуар.

— Отец у тебя сроду не пил, всегда в работе, сколько себя помню, а теперь и помочь ему некому, — послышался вдогон голос Ильича.

Артем обернулся, посмотрел немного на старика и, ничего не ответив, отправился дальше.

— И чего это он так взъелся вдруг? Что за муха укусила? Думает, не брошу? А вот возьму и брошу. Бросил бы, да только ни к чему пока, — произнес он про себя и направился в сторону Илюшиного дома. Если у того жены нет, выпить у него всегда найдется.

БАБУШКА ЗОЯ

Бабушка моя, Лысова Зоя Александровна, родилась 30 сентября 1941 года в деревне Вертьяново Дивеевского района. Деревеньку в одну улицу Вертьяново и село Дивеево разделяла речушка Вичкинза. Вернее мост, что лежал через реку. Давно уже нет этой деревеньки, которая словно деревце к дереву приросло к огромному селу и носит новое название — Дивеево. Но все равно устами местных так и кличут жителей той стороны — «вертьяновскими».

Каждый раз, вспоминая что-нибудь из далекого солнечного детства, теплая радость, словно маленький огонек лампадки, согревает душу. Будь то школьные будни, детские мальчишеские проделки, веселые игры или же ночевки у бабушки

Зои. Столько времени прошло уже, а помнится, как будто все это было вчера. Мне лет восемь, сестренке Валюше и того меньше, годиков шесть. Зимой в каникулы бабушка частенько брала нас к себе ночевать, чтобы родители хоть как-то могли отдохнуть от нас — сорванцов. Бабушкина квартира находилась на первом этаже старого двухэтажного дома. Это уже после она получит уютную однокомнатную квартиру со всеми удобствами, а до весны 2002 года проживала в негодном доме. Окна первого этажа уходили в землю и, находясь в самой квартире, было забавно смотреть в них — вроде бы и огород, и кусты малины, и крапива за стеклом, и в тоже время виднеется земля. Летом в квартире, когда не топилась печь, было холодно и сыро. По ночам со скрипом отклеивались от холодной штукатурки обои, и того гляди, казалось, что вместе с ними рухнут и стены. Может, и днем тоже обои трескались, но в суматохе дня этого как-то не замечали. Но зато по ночам, когда все вокруг стихало и погружалось в сон, стены, словно ночные призраки, напоминали о себе. Сама квартира была двухкомнатной. До пяти лет я с родителями и с сестренкой проживал в одной из комнат, пока матери не дали отдельное жилье. Как только мы переехали в двухкомнатную квартиру, бабушка перебралась в нашу комнату — она была больше, светлее и теплее. Другую же комнату со временем завалили старыми ненужными никому вещами. Отчего-то повелось так у нашего народа, что вроде бы вещь и старая, никому уже не нужная, а выбрасывать жалко. Словно память сжимает ладонью сердце и не велит выкидывать. Пусть хранится, хлеба не просит, может, когда-нибудь да сгодится. Вот именно ту самую комнату я и любил навещать, будучи мальчишкой, когда гостил у бабушки. Чего там только не было: старые книги, журналы, открытки, письма, изломанные часы, разобранное радио и телевизор, игрушки, среди которых была и мамина детская кукла. Кукла эта давно уже почернела от старости, и рот ее был разрезан ножницами. Это мама маленькой девочкой подправила резиновой кукле ротик, чтобы та могла кушать кашу. Столько времени прошло, как ни странно, а кукла сохранилась. Мама давно уже окончила школу, отучилась в Горьковском училище на швею, вышла замуж, родила меня и

сестренку, а кукла по-прежнему ютилась среди старых коробок, изломанных ненужных вещей, как бы дожидаясь своей участи — а может, все-таки еще поиграют? Посмотрев на черно-белых Степашку и Хрюшу по телевизору «Рекорд», мы начинали готовиться ко сну. Я знал, что сразу мы не уснем. В темной комнате, что освещалась ночной луной, лежа в постели, мы, как обычно, заведем беседу. Бабушка расскажет какую-нибудь сказку, а может, и не одну. Бабушка Зоя много знала сказок. На то она и бабушка. Это был, поди, самый щемлящий сердце момент, когда, наигравшись за весь вечер, мы начинали готовиться ко сну, хотя спать особо еще не хотелось. По крайней мере мне и сестренке, ну, на худой конец, уж мне-то точно. Я всегда любил такие вот беседы и, как себя помню, постоянно был любопытным мальчишкой. Бабушка рассказывала сказку, а если мы не засыпали, то рассказывала еще одну. В основном это были одни и те же сказки — Красная шапочка, Гуси-лебеди, Снежная королева... Зная назубок каждую из этих историй, они казались мне уже скучными. Поэтому мы с бабушкой пробовали придумывать новые сюжеты по старым сказкам. Получалось забавно и интересно. В нашей истории Красная шапочка несла бабушке не пироги в корзинке, а колобка, и на пути ее повстречался не серый волк, а Змей Горыныч. Сестренка тоже пыталась что-то вставить от себя, хотя бы словечко, но я ее перебивал, придумывая что-то свое. Вскоре и эти новые выдумки поднадоели. Напридумали историю такую, что и конец подобрать не можем. И, кажется, что нет нашей сказке ни конца, ни начала. Валюшка давно уже спит, тихо посапывая носиком. Сестренка всегда ложилась с бабушкой на большом диване, я же за печкой на кровати, как взрослый, лежал один. В комнате тихо играло радио (отчего-то у бабушки радио никогда не выключалось и жило своей жизнью), в печи, потрескивая, догорали поленья, а за ледяным окном свирепствовала, тяжело завывая, вьюга.

— Ну, вот что, давай-ка уже спать, — говорит мне бабушка, поправляя сестренке одеяло. — Валюша уже седьмой сон видит, а ты все никак Змеем Горынычем не утомонишься.

— Не спится, — я поворачиваюсь на левый бок и сквозь темноту посматриваю на нее. — А расскажи про Марью-кол-

дунью.

— Нашел время о колдунах говорить. Кто же по ночам о них вспоминает? — бабушка, покашляв, затихает.

Мне не спится. Лежа в кровати, откинув одеяло к ногам, я слушаю, как позади меня, в печи, все слабее и слабее потрескивают, умирают поленья. Ту историю о колдунье Марье, что проживала когда-то в Вертьянове, я немного знал. Но тогда, в ночной тишине, я снова хотел ее услышать. Но бабушка, по-видимому, устала от разговоров и всерьез приготовилась ко сну. И я пошел на хитрость.

— А правда, что колдуны могут в кошек оборачиваться? — спросил я вполголоса.

— Могут, — слышался бабушкин слабый голос.

— И в собаку смогут? — не унимался я.

— А чего бы и нет, — отвечала бабушка. — Они в кого угодно могут. Вот взять ту же Марью, к примеру...

— А что она?

— Снова не уснешь, бояться всего будешь, — упрекает бабушка.

— Не буду, — я отважно храбрюсь.

Спать и правда не хотелось, а послушать историю про колдунью, поугадать свою детскую душонку было страшно интересно. И бабушка, снова вздохнув, начала рассказ:

— Идем мы как-то с девочками из клуба. Разговариваем, смеемся. Танцы вроде бы как уже и прошли, а расходиться не хочется. И вдруг видим, а за нами по дороге бревно огромное катится. Мы шаг прибавим, и оно за нами следом быстрее, мы остановимся, и бревно стоит. Испугались мы, девочки молодые, и бросились бежать, не помня себя. А на встречу брат мой Юрка с ребятами идет. Мы к ним, так, мол, и так, бревно за нами катилось. Те в смех. А кто-то из ребят и говорит, да это вас Марья поугадать решила. Она это была.

— В бревно превратилась?

— Да в кого только не превращалась. То лошадью промчится по деревне, то свиньей разгуливает. А как-то тетя говорила, что сидела в избе днем, чай пила с баранками, вдруг глядь во двор, а там коза на поленнице сидит, и в окно уставилась, на тетю смотрит. Тетя и говорит ей, ну чего ты, Марья, балу-

ешься, чего тебе все нейдет? Та посмотрела-посмотрела и ушла долой.

— И что, все знали, что она колдунья?

— А чего бы не знать. Деревня маленькая. Все про всех знали. Да и сама по себе она была не злой, не вредной, только вот иной раз похулиганить любила. Умирала, правда, тяжело. Долго мучилась. Все просила воды ей подать, да никто не решался из соседей к ней подойти. Могла силу эту бесовскую передать. От того и мучилась долго, что никто к ней не подходил.

Я лежал, прижавшись левым ухом к подушке, и боялся шелохнуться. Это сейчас я прекрасно понимаю, что не может человек оборачиваться в животных и в другие предметы, что давнишняя эта история не более, чем выдумка. Что когда-то давным-давно жила в нашем краю пожилая старушка Марья, возможно, горбатая, скрюченная работой и старостью, замкнутая, немножечко не в себе, и вот ей-то и пугали непослушных малышей родители. Так и прицепился этот облик к ней. Не ужилась бы настоящая колдунья с простым народом. Не ужилась. А, как известно, у страха глаза велики. Мало ли кто не привидится в темноте молодым девицам. Вот и мне тогда тоже после услышанного померещились на стене непонятные тени, того гляди, так и норовили подкрасться ко мне, ущипнуть или схватить за ногу. И, не скрывая испуга, я попросился к бабушке на диван.

— А я что говорила, спать один не будешь, — и бабушка, осторожно пододвинув сестренку к стене, пододвинулась сама. Я прилег с краю на диван, прижался макушкой к теплomu бабушкиному плечу и тихонько вздохнул. Уже было совсем не страшно.

— Ба-а.

— Ну чего еще?

— А кто сильнее волк или собака?

— Опять двадцать пять. Ты уснешь или нет?!

— Усну-усну, — я прижимаюсь к бабушке так, чтобы было удобней слушать.

Бабушка обнимает меня и говорит, что сильнее волк, потому как он хищник. В комнате тихо играет радио, а я, укутав-

шись одеялом, слушаю бабушку, ее рассказ о том, как волки хозяйничали в их деревне в зимние военные годы. Тогда морозы стояли ужасные. Мужики все на фронт ушли, остались лишь бабы да дети. Вот зверь и повадился к деревням ближе ютиться. Днем еще как-то побаивались показываться, а только-только стемнеет, волки тут как тут. Расхаживают по Вертьянову как хозяева и никого не боятся. Сколько собак погрызли, и представить страшно. Во двор не боялись забегать, из конуры вытаскивали. Выйдут бабы утром, а от собаки только ошейник рваный на снегу лежит. Лес-то рядом, рукой подать. Вот волки и выходили на прогулку. Затемно к людям, с рассветом обратно в лес...

Столько времени уже прошло, а все равно вспоминаются мне те беседы при ночной луне. Словно, кто-то невидимой ладонью гладит мое сердце. Тепло и грустно становится. Тепло от того, что вспоминается детство. Детство – это всегда теплая весенняя пора. Грустно же потому, что совсем недавно не стало нашей любимой бабушки Зои. Она умерла 4 ноября 2014 года в праздник Казанской иконы Божией Матери. Как же хорошо, что у человека есть память, и все самое хорошее, все самое драгоценное о человеке хранится именно там, в потемках души его, и живет вечно. Больно, печально и одиноко от того, что не обнять мне больше никогда ее хрупкие дорогие сердцу плечи, не прижаться щекой к ее фартуку, не поговорить, не послушать ее забавных интересных историй... Но пока я живу, в сердце моем всегда будут храниться ее улыбка, добрый голос и теплые глаза.

Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ...

За окном завывала метель, и даже становилось как-то спокойно от того, что в доме тепло, прекрасно понимая, какая погода царит сейчас снаружи. Катя лежала на диване и учила стихотворение Пушкина, несколько раз повторяя одну и ту же фразу: «Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты». Стихотворение давалось с трудом, и потому девочка, хмурая

бровь, бранилась про себя: «И кому только нужны эти стихи? Бессмыслица какая-то». И, тяжело вздыхая, мол, нелегка судьба ученика, прикрыв учебник, пыталась пересказать. Но в который раз ничего не вышло. Выучишь абзац, расскажешь, выучишь другой, прочтешь, а чтобы так, целиком, все стихотворение, нет, не получается. Пока учишь другие абзацы, забываются предыдущие. Катя убрала учебник в сторону и принялась тщательно вспоминать начало стихотворения. Дедушка сидел в кресле и листал газету, важно заглядывая в содержание, и ему, казалось, ни до чего нет дела, но бабушка, что сидела на другом кресле, ловко работала спицами и, улыбаясь, поглядывала на внучку.

— Над чем это ты, бабушка, улыбаешься? — поинтересовалась Катя, заметив ее улыбку. Старушка, не отрываясь от вязания, по-доброму улыбнулась, мол, не переживай, деточка, не над тобой, не над тем, как ты учишь, милая, и перевела взгляд на деда, который по-прежнему важно читал газету.

— Да так, навеяло из прошлого, — и бабушка вновь улыбнулась. — Вспомнилось, как твой дедушка ухаживал за мной. Как-то вечером на набережной тоже это стихотворение читал мне. Да только, видно, в школе плохо учил его. Все слова перепутал. Вместо «как гений чистой красоты», как сейчас помню, прочел «как ангел веры и любви». Ох, и смеялась же я тогда. Ну и Пушкин, Георгий Васильевич.

Дедушка оживился. Заерзал на кресле, поправляя на носу очки.

— Дэк я же нарочно, чтобы посмешить.

— Ага, нарочно.

— Конечно, нарочно. Что ж я, по-твоему, Пушкина не знал, что ли? Чай, в школе проходили.

— Оно и видно.

Иногда бабушка любила подразнить деда, который также любил поспорить. Иной раз как начнут молодость вспомнить, не переслушаешь. И ведь живут вместе сорок лет как, а послушаешь, у каждого своя история.

— Что видно? — дедушка снова заерзал на кресле, сложил газету. — Так же вон, как Катерина сейчас, лежал с книгой, учил.

— Это после того, как я тебя, грешного, постыдила немного, за книгу взялся. Следующим вечером прочел хорошо, ничего не скажешь, без единой помарочки, — бабушка снова улыбнулась. — Это же надо, ангел веры и любви.

— В тот раз я тебе свои стихи читал, Пушкина пародировал.

— Батюшки, — бабушка развела руками.

— Вот тебе и батюшки.

— Деда, а ты и стихи писал? — Катерина сделала вид, что немного удивлена, хотя прекрасно поняла дедушкину шутку.

— А то. Иной раз такой роман напишешь, что аж пальцы горят. До того ломит, словно вагон кирпичей разгрузил.

— Ой, хитрец, ой, хитрец!

— Смейся-смейся, — дедушка скривил улыбку — Смеется, знаешь кто, кто последним смеется?

— Ой-ё-ёй!

— Это, конечно, — дедушка повернулся к внучке, — по поводу стихов-то пошутил я. Пошутил. Но в футбол по молодости знаешь, как играл. У-у-у! Все голы в девятку забивал.

Бабушка снова улыбнулась:

— Шутник.

— Все голы мои были, вот те и шутник.

— Все, все, коль ты на воротах стоял.

Катерина тихонько хихикнула. Про то, как дедушка играл в футбол, из его уст слышана была не впервой. Чего-чего, а футбол дед любил. Когда по телевизору показывали матч, дед уходил на кухню, чтобы никто не мешал, либо к соседу этажом ниже, одноногому Тимофею. Почему дед не стал футболистом? Об этом он рассказывал много раз, и каждый раз это были новые истории.

— Меня и в область взять хотели. Да не взяли потому, как захворал. Борис Бердяев вместо меня тогда попал. Эх. А какие голы тогда забивал, какие голы... С середины поля, бывало, попадал.

— Он же вроде, Борис-то, ногу тогда на футболе повредил, да?

— На тренировке. Всего-то и успел четыре игры сыграть. И ведь и играл тоже неплохо. Ан нет, судьба, видно. Чашечку коленную повредил. Вот ведь. Бывает, человек рожден для большого футбола, и знай, что-нибудь да случится. Если бы и

не моя скромность, еще бы в семидесятых в сборную вошел бы. Стеснительный я был просто, хотя и играть умел.

— По садам чужим лазить не стеснялся. Помню, папенька мой, выйдет, бывало, покурить вечером, а под моим окном знай какой-нибудь букет лежит. Снова, говорит мне, твой приходил. А мне и стыдно самой, и приятно, что кому-то нравлюсь, — бабушка опять задумчиво улыбнулась и посмотрела на деда. — Но ухаживать, конечно, Гриша умел. Пускай Пушкина и не знал, но зато как пел. Какой у него голос был. М-м-м. Как запоет, бывало, под гармонь, аж слезы пробивало. Всю душу пением выворачивал. А танцевал как, у-у-у, — всех девчонок танцами соблазнял. Плясать, окаянный, умел. Всем нравился. Все им любовались. А полюбилась я, — не без гордости заметила бабушка.

— Да разве мимо такой хохотуни пройдешь? — дедушка погладил бородку, закинул ногу на ногу. — Бывало, начнем с бабкой твоей спорить, аж разбегались все, думали, война. А мы поспорим-поспорим, да и запоем какую-нибудь песню вместе, — дед улыбнулся. — А ты, Катька, Пушкина-то учи, пригодится. Будешь потом женихов поправлять.

Внучка скромно улыбнулась и только взяла в руки книгу, как зазвонил телефон. Звонила подруга, интересовалась заданием по химии, потому как на уроке не успела записать. Катерина продиктовала домашнее задание, а когда направилась в зал, то увидела, что дедушка с бабушкой, взявшись за руки, о чем-то мило беседовали. Девочка не стала им мешать и ушла на кухню.

И как же хорошо, что бабушка с дедушкой вот уже как сорок лет друг друга любят все той же молодой озорной любовью. И как же хорошо, что они все еще умеют друг над другом подшучивать и не сердятся на шутки. Катя вновь открыла учебник. Но сейчас слова влюбленного поэта ей не казались уже столь бессмысленными и ненужными и само стихотворение, читалось уже с глубоким смыслом. Ведь что может быть прекрасней нежных слов своей даме?

Ольга ТАРАНЕНКО
«Муравським шляхом до Сковороди»

«Усе те не наше, що нас покидає».

Г.С. Сковорода

Усе те не наше,
що нас покидає,
і добре,
коли ані болю, ні жалю.
Прийшло й відійшло,
як зерно без врожаю.
Усе те не наше,
що нас покидає.

Але у житті дуже рідко буває,
коли те не наше,
що нас покидає...

То сум насилає,
то біль залишає,
то хмари важкі пригинає в негоду,
що сіють,
як дощ, серед поля,
тривогу.
І завдає нам найглибшого жалю
усе, що не наше,
що нас покидає...

Намалюю квіточку і хату.
Люди скажуть:
ти диви, як схоже!
Аж здригнусь —
десь поряд правда ходить,

хтось цю правду буде собі знати.
Аж заплачу з розпачу,
з безсилля —
і в сльозах є істина пророча!
На землі поетів тих — засилля,
чи багато правди в їх рядочках?
Заспокоюсь наче.
Все ж нормально.
Всі ж до істини дістатись хочем...
Біля хати посмутніла мальва.
На малюнку —
радісно регоче.

Під шкірочкою криги,
під лусочкою льоду
вгадати дух відлиги.
Води весняний подих.

З-під камінця бруківки,
із-під листочка липи
до світла рветься скільки
всього, чого накликав!

Це дивне проникання
від корінців до крони,
напевне, що востаннє —
щемке і незагойне.

...Над здичавілим полем,
над зорянистим небом
завмерло все, відколи
в душі нема потреби.

Золотою ордою — вересень!
Та і я ж не бранка.
Упав, як на гвалт, з вереском.

Ой, болять думки
та й до ранку.

Розірву пітьму,
розведу хоч куди,
як віконниці
із віконця.
Хоч орда й золота,
та геть іди.
Не застуй
сонця.

Знаю, все то — вигадки.
Вересень —
невмолимий.
Та собі не шукаю вигод,
як батькам —
золотого калиму.

Вересень...
Зачекай-но.
Підганяєш навіщо коні?
Навкруги так тихо та гарно —
аж чути,
як сивіють скроні.

Носити сіно, носити сіно!
В сарай, у клуню і трішки в сіни.

Хай спить і диха, допоки сили.
Ми ж недаремно його косили!

Хай спить і пахне джмелем і вітром,
землі і сонця цілющим віком.

Хай спить і гріє цей жмутик сіна —
в нім дух дитинства і дух країни.

Так геніально пахне кавуном
від скошеної зелені газону!
Ця свіжість небуденна і озонна
чайлася в траві давно-давно.
Ця хвиля пахощів мене ізнов
збентежила без всякого резону.
І що я можу для цієї отави?
Хіба що зберегти її в октаві.

А ти пішов, дверей не причинив.
На протягу колишуться портъери.
Ти справді дуже мудро учинив,
так мудро,
як колись чинили ересь.
У хаті красно від вогню портъер —
все дужче розгоряються на вітрі.
Ніхто у цей вогненний інтер'єр
не вписується — так, як і в півлітру.
Мені вже ніч.
І страшно сірих ранків.
Мені вже чорно навіть в цій зорі.
Метелики злітаються до ганку.
Хоча б один
узяв та й не згорів!

А ти пішов, дверей не причинив.
На протягу колишуться портъери.
Ти справді дуже мудро учинив,
так мудро,
як колись чинили ересь.
У хаті красно від вогню портъер —
все дужче розгоряються на вітрі.
Ніхто у цей вогненний інтер'єр

не вписується – так, як і в півлітру.
Мені вже ніч.
І страшно сірих ранків.
Мені вже чорно навіть в цій зорі.
Метелики злітаються до ганку.
Хоча б один
узяв та й не згорів!

Помолилась. Лягла. Очі у стелю —
і знаю: ось вона, Отче, пустеля.
Хоч стулюю повіки, а хочеш — вдивляйся
в рухому теміннь, на сірість лайся.
Ти ж знову кажеш одне й те саме:
«Пробач їм, Отче, вони із Нами,
та лиш не відають, що ж бо чинять...»
Й від слів роблюся тих, мов причинна.
Дратує все: і отой, що з оцтом,
і те, що потім з великим почтом...
Змій, що з Едему, в мені регоче
і кпить, що гарний я тамагочі...

Вже який день шукаю слово «мама»:
Проказую про себе, а то пробую покласти на голос.
У сусідньому дворі мала підказує мені — гукає: «Ма-а-а!!!»
Але, ні, то не моє слово...
Шукаю, мов пес, намагаюсь унюхати,
Тулюсь до кофтини маминої,
До хусточки, отієї «без лапатих квіток».
Серце зіжмакане,
І ніхто ж його не погладить...

Прокидаєшся по-різному:
то як немовля, яке опустили у воду під час хрещення —
скидуєшся всім тілом, заходишся мовчки плачем
і широко розплющуєшся:
А-а-а!
То наче метелик, котрий довго пурхав над квітами,
вибираючи, до якої б притулитись,
і нарешті обережно торкається пелюстки:
О-о-о!
То як листок із верби,
що пливе за течією сільської річечки.
Хмаринки собі розкошують,
кущики на берегах з підскоком озираються.
Жаба оката витріщилась, водомірки ковзають.
Блаженний порух, незворушний спокій.
Ух!
А то наче камінь,
який підсовують у спекотливий день під ляду,
аби льох провітрити.
Прокидаєшся і думаєш:
— Господи!..

Муравським шляхом до Сквороди.
Орієнтир — і небо, й зерна поту.
Він також тут ходив.
Ось тут! Ходив.
У світ виходив, наче на роботу.

У полі сонях.
Жайвір вибира
прозорий день, сотворюючи пісню.
А хтось у дні цім, неначе той баран,
йому без глупства світу якось пісно.

Шлях шкарубкий, потрісканий, він — битий.
Правічний, речений тобі в роду.
На нім себе знайти чи загубити?
А то вже так: чи стрів Сковороду.

У землі наші мами порпаються,
хустками запинаються недорогими,
і з кожним роком
все дужче згорблюються,
їм важче й важче стрічати зими.
Устигають дивитися за онуками,
посилки вимудровують нам щомісяця.
А ми все ганяємось за науками,
а ми у житті все шукаємо місця!
А випаде в свято посидіти з нами,
погомоніти про болі та нужди —
і мами зітхають,
зітхають мами.
І руки ховають чорні і стружені.

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ
ЗАСВАТАННАЯ

— Да, повезло же тебе, подруга! — с завистью Проня посмотрела в окошко на работающих во дворе мужчин. Женщина опрокинула чарку горилки, наморщила длинный острый нос и смачно захрустела соленым огурцом.

— В чем повезло? — Евдокия удивленно уставилась на соседку, — сарай сгорел — вот так счастья привалило! — женщина следом за Приськой осушила свой стакан и грустно выглянула во двор. Там полным ходом шло строительство нового хлева. Евдоха тяжело вздохнула, вспомнила, как пару дней назад горел ярким пламенем злополучный сарай. И все из-за забытой масляной лампы. Огонь в считанные минуты охватил хлипкое строение и уничтожил его до тла, только головешки остались. Хорошо хоть скотина уцелела. Казачка еще раз тяжело вздохнула. Она грустно подперла кулаком тяжелый подбородок и потянулась пухлой рукой к домашней колбасе.

— Ох и глупая же ты, Евдоха, счастья своего не понимаешь, — со знанием дела заявила Проня. Прочитав в глазах подруги недоумение женщина решила пояснить:

— Это не хлев у тебя сгорел, это Бог тебе шанс посылает!

— Какой еще шанс? — махнула рукой Евдокия. Она смотрела на соседку немигающим взглядом, тщетно пытаясь понять, в чем удача.

— А такой шанс — шанс устроить свою личную жизнь, замуж выйти! — Приська взяла большой пузатый бутыль и наполнила осушенные чарки. — Ты только погляди, соседка, — она указала пальцем на рослых крепких мужчин, — каких молодцев тебе наш голова в помощь прислал. А главное, все как один не женаты! — Проня хитро подмигнула Евдохе. — Ты не сумлевайся, я справлялась.

— Что, про всех четверых? — ахнула Евдокия. Хозяйка дома еще раз выглянула из-за занавески и на этот раз с интересом стала разглядывать казаков. Мужики все были рослые, креп-

кие, кто-то постарше, кто-то помоложе. Был тут и совсем молодой хлопец Назар — красивый, статный. Черные как смоль вьющиеся волосы спадали на высокий чистый лоб. А глаза, какие у него глаза, ну просто загляденье — большие зеленые, словно у мартовского кота. Да и фамилия у него звучная — Побегайло. "А что?" — подумала Евдоха. — "Хорошо получится — Евдокия Свиридовна Побегайло — звучит!" — женщина задумчиво потянулась рукой к небольшому зеркалу, лежащему на подоконнике. Казачка взглянула на свое отражение и все мечты развеялись словно дым. "Да разве ж он на такую посмотрит?" — Евдоха обреченно рассматривала уже немолодое лицо. Она недовольно посмотрела на пухлые розовые щеки, на немного вздернутый кверху нос. От былой красоты не осталось и следа, а ведь когда-то она считалась самой красивой девкой на хуторе. И женихов толпы за ней следом ходили, а она все перебирала, да носом крутила. "За того не пойду, он слишком низкий, да и тот мне не пара — длинный, как верста!" Все ей не так было. Считала девка, что такой красавицы, как она, никто не достоин. Зря ее мать за голову хваталась и за косы дочь тягала, все хотела замуж Евдокию поскорее отдать, но ни уговоры, ни материнские слезы, ни даже побои не помогли. Евдоха была уверена, что замуж она обязательно выйдет, да только за самого лучшего и бравого казака. Ну а как же, ведь с такой красотией в девках не засидишься. Да и парубки вокруг нее что называется хоровады водили. Все хорошо было, да только захворала как-то молодая казачка, долго в горячке лежала, маялась, а как хворь отступила, то и красоту девичью с собой забрала — окосела Евдокия. Левый глаз прямо на переносице сошелся. С тех самых пор и женихи пропали. Ну кому косая жена нужна?

Женщина тряхнула головой, пытаясь отогнать от себя накатившие воспоминания. Она горько вздохнула и вернула зеркало обратно на подоконник. С тяжелым сердцем хозяйка дома подняла глаза на красивого юношу.

— Что, подруга, загрустила? — Проня проследила за взглядом Евдохи и оценивающе посмотрела на Назара. Молодой парень трудился в поте чела, что-то усердно пилил. — Да, красавец хоть куда! — причмокнула тонкими губами Приська. — Ну, соседка, — женщина подняла свою чарку, — давай

выпьем за твоего будущего мужа! — не теряя ни минуты она поднесла ко рту до краев наполненный стакан.

— Какого мужа? — начала уж было злиться казачка. Ей казалось, что гостя подтрунивает над ней. — Ты только посмотри на него, — Евдоха отодвинула занавеску и внимательно посмотрела на молодого хлопца. Назар вспотел во время работы под пекучим солнцем и снял с себя сорочку. Глядя на сильное красивое мужское тело женщины раскраснелись. — Да разве ж он на меня посмотрит? Поди все девки на селе за ним бегают. Что ему до меня? — Евдокия опрокинула чарку горилки и не закусывая обернулась к госте. Та взяла со стола красное наливное яблоко и с хрустом откусила большой кусок. — У тебя, голубушка, — она облизнула пересохшие губы, — есть то, чего нет у местных молодух!

— Косоглазие, — нервно рассмеялась дородная хозяйка дома.

— Нет, — замотала головой Приська. Рыжие длинные волосы казачки растрепались и сосульками упали на худое лицо, — опыт! — подняла она указательный палец кверху. — А ты знаешь что, Евдоха, ты его прикорми! — Проня еще раз укусила яблоко за красный бок, — лучше твоих пирогов во всей округе не найдешь. Местные бабы таких готовить не умеют! — заключила она. Немного помолчав гостя продолжила все тем же поучительным тоном:

— Ты же сама знаешь, что путь к сердцу мужика лежит через желудок.

Евдокия задумалась:

— И то правда!

С легким сердцем она распрощалась со своей соседкой.

Уже ближе к вечеру женщина вышла во двор и стала собирать на стол, стоящий в густой тени виноградника. Евдоха по совету лучшей подруги напекла пирогов с разными начинками. Как только Проня за порог вышла, так Евдокия сразу опару и поставила. Не зря хозяйка несколько часов у печи провозилась — пироги вышли на славу. Здесь были пирожки и с мясом, и с квашенной капустой, и с картошкой, ну и, само собой разумеется, сладкие пироги с маком. Казачка расставила угощение на столе, не забыв принести большой кувшин молока и кружки. Еще раз придирчиво оглядев накрытый стол женщина опрометью бросилась в дом, чтобы принарядиться,

а уж потом и казаков на вечерю звать. Евдоха быстро достала из сундука праздничную вышиванку, красную юбку, которую еще в прошлом году на ярмарке купила, так до сих пор и повода обнову надеть не нашлось. Тут же из сундука появились и лаковые сапожки на высоком каблуке. Принарядившись таким образом Евдокия уложила темные густые волосы, аккуратно пригладив их гребнем и набросила на плечи цветастый платок. В таком виде она вышла к работникам и гостеприимно, с приветливой улыбкой позвала мужиков:

— Ну, что, ребятушки, чай притомились за день бревна таскать?

Женщина шагнула на встречу казакам. Хлопцы обернулись на звонкий мелодичный голос и захлопав глазами уставились на хозяйку бросив работу.

— Да, хозяйюшка, а как же не притомиться — притомились! — подошел к Евдокии здоровый толстый казак Кондратий Юхимивич Шморгун. Здесь, на стройке, он был главным, хоть в строительстве и мало что понимал, но раз голова поставил его людьми руководить, то никто оспаривать авторитет Шморгуна не смел. Кондрат улыбнулся казачке и заозирался по сторонам. Остановив свой взгляд на накрытом столе он сглотнул слюну в предвкушении вкусной вечери и облизнул толстые губы. Хозяйка уловила взгляды работников и радушно пригласила мужчин отужинать.

— Работнички, вы мои дорогие, — заискивающим голосом начала она, — прошу вас к столу. Я вам пирогов напекла, — она указала на полные тарелки, — тут на любой вкус.

Мужики, вымыв запачканные руки в ведре с водой, расселись по лавкам и принялись уплетать угощение за обе щеки. Евдоха была собой очень довольна, ведь ее выпечка пришлось всем по вкусу. Особенно сердце хозяйки радовалось, глядя, как ее пироги понравились молодому Назару. Женщина бесшумно приблизилась к мужчинам и заботливо налила гостям в кружки молока:

— Вы пейте, козачки, молочко домашнее, с утренней дойки.

Прошло несколько дней. На пороге появилась Проня. Она без стука вошла в хату и потянула носом по воздуху. В доме действительно вкусно пахло жареной кровяной колбасой, а в печи стоял большой казан, судя по аромату витавшему в воз-

духе, в печи доходил борщ.

— Ну что, подруга? — весело спросила Приська, глядя на захлопотавшуюся хозяйку.

Евдоха вздрогнула от неожиданности. Она стояла спиной к входным дверям и не заметила, как к ней пришла гостя.

— Как твои дела любовные? — Приська кивнула головой на окно, за которым работали мужики. Не дожидаясь ответа соседка продолжила:

— Ну, не томи, рассказывай! Прикормила?

Евдокия тряхнула головой. Из под платка выбилась прядь непослушных темных волос. Женщина аккуратно убрала их обратно под косынку и тяжело вздохнула.

— Ага, — Евдоха устало опустилась на лавку. Складывалось впечатление, что это она в первый раз за весь день присела.

— Прикормила! — хозяйка потупила взор.

— А чего ж тогда невеселая? — удивленно приподняла жидкие брови Проня. Она никак не могла взять в толк, почему подруга не весела, ведь если ей удалось такого хлопца, как Назар отхватить, то тут радоваться надо и прыгать до самого потолка. А она, глупая, нос повесила.

— Прикормила, — продолжила Евдокия, — да не того!

Женщина поднялась со скамьи и подошла к окну, отдернула занавеску и поманила рукой подругу к себе.

— Во, смотри, — она указала на беседку под виноградником, — все работают, а он, паразит, сидит, прохлаждается да колбасу наминает.

Действительно, в густой тени винограда, спрятавшись от жарких лучей летнего солнышка, на лавке сидел здоровый пузатый казак. В одной руке он держал большой ломоть хлеба, а во второй — колечко домашней колбаски. Дитина откусывал большие куски то от хлеба, то от колечка. Казалось, что он глотает еду, не прожевывая.

— Все ест и ест, ест и ест, — покачала головой Евдоха, глядя на толстого казака, — и как только не лопнет, утроба ненасытная? — казачка злобно топнула ногой. — А работа-то практически стоит, Кондратий ведь здесь, на строительстве, главный, а он только знай себе пузо набивает.

Проня придиричиво оглядела толстяка и пожала плечами.

— Ну, а к тебе он как? — с любопытством она взглянула в

лицо подруге, — симпатию проявляет?

Евдокия задернула окно и отошла к печи.

— Сватов засылать хочет! — она взяла ухват и вытащила из печи тяжелый казан. — Ходит за мной, как привязанный. Как только угощение доедает, так сразу ко мне и бежит.

В подтверждение ее слов дверь в светлицу распахнулась и на пороге появился довольный Кондрат. Он со свистом втянул в нос аромат только что сваренного борща. Глядя на котел, стоящий на столе, глаза Кондратия Юхимовича довольно заблестели. Широкое лицо расплылось в улыбке, скрыв под толстыми щеками маленькие глазки.

— Евдокия, голубушка, — начал он заискивающим тоном, подходя ближе к заветному казану и не сводя с него взгляда, — какая же вы все-таки хозяйка хорошая! — он не обращая внимания на гостью прошел мимо Прони. Приблизившись к котелку он снял с него крышку. Из посуды повалил густой пар. В лицо казака ударил запах чеснока и зелени. — Не женщина, а мечта! — казак облизнул толстые губы и заозирался по сторонам в поисках ложки. Евдоха молча взяла с полки миску побольше и насыпала в нее горячего борща.

— И сметанки! — Кондрат сглотнул слюну. Получив свою порцию мужчина быстро развернулся и вышел вон.

— Видала? — Евдоха кивнула в след скрывшемуся за дверью Кондратию. — Тоже мне женишок нашелся! — она закрыла казан и выразительно посмотрела на соседку. Та стояла, разинув рот. Удивленная таким поворотом событий Приська не знала, что сказать, но немного подумав все же нашлась.

— А что, — начала она, — может лучше такой мужик в доме, чем вообще никакого.

— Да ты с ума сошла! — перебила Проню Евдокия. — Я уже несколько дней как проклятая от печи не отхожу. И все для того, чтобы этого обжору накормить, — она рассержено смотрела на соседку. — Такого мужика не прокормишь! — казачка подбежала к окну и выглянула во двор. — Ты только посмотри, — Евдоха ткнула пальцем на живот Кондрата. — Да это же бездонная яма, а не брюхо, настоящее кладбище для харчей! — хозяйка зло отвернулась от окна. — Э нет, я ради такого мужика всю жизнь возле печи горбатиться не стану! — она снова обернулась к окну и мечтательным взором провела мо-

лодого Назара, который аккурат только что прошел через весь двор, неся на плече большую доску. Приське стало жаль подругу, ведь всю жизнь баба одна мается, а тут встретила наконец-то казака своей мечты, да и тот ей не по зубам.

— Слушай, подруга, а ты, может, подпой его, ведь сама знаешь, самогон — лучшее приворотное средство! — Проня весело улыбнулась Евдохе.

— А ведь права ты, соседка! И как я сама только не додумалась? — с этими словами подруги распрощались.

День уже близился к концу. Евдоха, не долго думая, стала собирать на стол. Да только сейчас вместо обычной крынки молока, рядом с нарезанным толстыми кусками салом, появился большой бутыль горилки. Хозяйка довольно посмотрела на накрытый стол и позвала мужиков.

— Ну что, казачки, время вечера пришло, — женщина весело улыбнулась работникам. — Я уж и на стол накрыла! — мужчины довольно переглянулись и, не стовариваясь, двинулись за угощением. Впереди всех бежал Шморгун. Он занял самое удобное место, возле большой миски с варениками.

— О-о-о! — радостно протянул длинный худощавый казак средних лет. — Вот это я понимаю! — Лукьян смотрел немигающим взглядом на пузатый запотевший бутыль. Мужик потянулся жилистой рукой к чарке и быстрым движением наполнил ее до краев. — Ну что, братцы, — Лукьян Анфимович Синегуб поднялся с лавки, держа в руках стакан горилки, — выпьем же за радушную хозяйку! — не дожидаясь пока остальные наполнят свои чарки, Лука осушил стакан и даже не наморщившись и не закусывая снова потянулся к бутылю. Евдокия радостно посмотрела на казаков, кажется, все были довольны сегодняшним ужином. Мужчины были веселы и то и дело нахваливали хлебосольную хозяйку. От лестных слов в свой адрес Евдоха раскраснелась. Она украдкой из под густых длинных ресниц поглядывала на Назара. Тот, немного опьянев от выпитого, тоже, как и все расхваливал Евдоху.

Уже через несколько дней Проня появилась возле калитки своей подруги. Женщина не раздумывая шагнула во двор и с интересом заозиралась по сторонам. Строительство нового хлева шло очень медленно, почти и не продвинулось с того дня, как Приська была здесь в последний раз. И это не удивитель-

но, ведь работали всего двое казаков. Их начальник Кондратий Юхимович Шморгун восседал в тени густого виноградника и уже по привычке что-то усердно жевал, причмокивая от удовольствия жирными губами. «Интересно! — подумала гостья. — А где же четвертый?» — она закрутила головой, выискивая глазами четвертого работника, но так и не нашла. Казачка быстро пробежала мимо строительства, незаметно проскользнула в сени и на мгновение замерла. За дверью послышался мужской хриловатый голос. Проня решила не прерывать разговаривающих. Она прильнула ухом к замочной скважине и затаила дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова.

— Евдокия, душечка, — донеслось до пришедшей из светелки, — ну отчего же вы не хотите, чтоб я сватов к вам прислал?

Приська ахнула. «Вот так дела!» Она осторожно приоткрыла дверь и заглянула через тонкую щель внутрь комнаты. Посреди светлицы стояла раскрасневшаяся Евдоха. Женщина недовольно отвернула голову от высокого худого казака, который тщетно пытался ее обнять. По всему было видно, что хозяйка не рада такому вниманию. Она отстранилась от слегка пошатывающегося гостя.

— Не торопите событий, Лукьян Анфимович, — хозяйка наморщила вздернутый кверху нос. В доме стоял запах горилки.

— Что ж вы, голубушка, мне от ворот поворот даете? — казак покрутил пальцем длинный обвислый ус. — Не томи, чаровница, дай ответ! Ведь душа горит! — мужчина снова приблизился к Евдохе и игриво ущипнул ее за пухлый бок.

— Знаю я от чего у вас душа горит! — грубо отрезала женщина. Она зашла в камору и через мгновение вернулась с большой бутылкой горилки. — Надеюсь, этого хватит, чтобы затушить огонь в вашей душе? — она поставила пляшку на стол и отвернулась от собеседника.

— Ох, Евдокия, — мужик дрожащими от нетерпения руками обнял запотевшую бутылку. — Знаете вы, как приятное казачку сделать.

Лукьян с довольной улыбкой направился к выходу. В дверях он столкнулся с любопытной Приськой. Лука недовольно скосил глаза на удивленную женщину и не здороваясь вышел

прочь из хаты.

— Да, вижу, соседка, не того ты подпоила! — хохотнула Проня, глядя на недовольное лицо подруги. — А что, вроде ничего казак! Чего ж ты носом крутишь? — с улыбкой поинтересовалась она у хозяйки. Евдоха подбежала к окну.

— Вон, смотри! — оно подозвала к себе Приську и указала на тенистую беседку. Там, где раньше сидел один Шморгун теперь расселся и Лукьян Анфимович. Он довольно облизывавая пересохшие губы наполнил чарку.

— Куда ж за такого замуж идти? — топнула ногой Евдоха. — Он то и дело все пьет и пьет, так до позднего вечера. А как стемнеет, падает пьяный под забором и дает храпака, — хозяйка повернулась к собеседнице. — Знала бы ты, Приська, как он, поганец, храпит. Мне аж в хате слышно.

Проня рассмеялась дослушав подругу до конца.

— Тебе смешно? — Евдоха обиженно отошла от соседки. — А я уже почитай две ночи из-за него не сплю. И ты мне замуж за него предлагаешь? — женщина надула алые губки. Затем, отбросив все обиды она приблизилась к лучшей подруге и с надеждой в голосе спросила. — Что мне делать, Проня, посоветуй? Как с Назаром быть? — казачка искренне надеялась, что умудренная жизнью подруга поможет ей советом. Приська задумалась.

— А знаешь что... — неуверенно протянула она, — может, ты к бабе Степаниде сходи.

— Это к колдунье что ли? — удивленно переспросила Евдоха. — Зачем? — она испуганно посмотрела в глаза собеседнице, ведь про бабу Степаниду сильно не хорошая молва ходила.

— Ага, — кивнула головой Проня, — она тебе зелья приворотного даст, плеснешь его в стакан своему Назару и будет он ходить за тобой, как привязанный! — подмигнула подруге Приська.

— А что, идея ведь хорошая! — подумала Евдоха. — В любви ведь, как и на войне, все средства хороши. Сразу же, после разговора с соседкой, не теряя времени, Евдокия направилась в самую чащу леса, именно там проживала баба Степанида. Раньше колдунья, как и все, жила на хуторе, но как только у казаков живность дохнуть начала да и у самих хуторян здоровье ухудшилось, так прогнали местные ведьму по-

дальше от села. Что правда некоторые, особо отчаянные головы, изредка все-таки наведывали старуху. Ходили к колдунье по разным надобностям: кому постылых соседей извести требовалось, а кому и мужика присушить, чтобы на других баб не смотрел. Всем бабка Степанида помогала. Поговаривали, что она с самым нечистым знается. Долго пробиралась сквозь дремучий лес и гнилое болото Евдоха. Женщина тряслась от страха, но назад не сворачивала, уж очень загорелась она желанием любовь Назара заполучить. Немного поплутав извилистыми тропинками казачка вышла на полянку, где стояла избушка местной колдуньи. Это был небольшой бревенчатый сруб. Во дворе, на открытом костре стоял большой казан, из которого валил едкий черный дым. Рядом с котлом ходила кругами старая ведьма. Она то и дело подбрасывала в бурлящую воду какие-то травы. Вдруг старуха остановилась и резко обернулась к незваной гостье. Ее глаза хищно блеснули, седые волосы растрепались по ветру. Колдунья улыбнулась пришедшей, обнажив свои кривые желтые зубы.

— Давно тебя жду, Евдоха! — ведьма приблизилась к казачке и пристально заглянула в испуганные глаза. — Вот видишь, как раз для тебя зелье готовлю... — она указала кривым костлявым пальцем на большой котел. Евдокия от страха обомлела, будто застыла, стоит и слова сказать не может. Хотя никаких слов колдунье и не требовалось, она и так все знала. Старуха взяла склянку и зачерпнула ей бурлящую жидкость из казана:

— Бери, казачка, — ведьма протянула сосуд с приворотным зельем Евдокии, — это счастье твое! Плеснешь в кружку своему ненаглядному и навек он твой будет! — бабка хитро подмигнула остоленевшей женщине. — А теперь домой ступай, — она указала Евдохе в направлении хутора. — Там тебя уже работнички заждались!

Не успела Евдоха и глазом моргнуть, а все исчезло, испарилось, словно и не бывало вовсе и бревенчатый сруб, и котел на костре, и бабка Степанида, только склянка с мутной жидкостью в руках осталась. Как бесценное сокровище козачка принесла домой приворотное зелье и не раздумывая ни минуты выплеснула все содержимое склянки в стакан с узваром. Взглянув на свое отражение в зеркале Евдокия улыбнулась и

лукаво подмигнула себе косящим глазом. Женщина вышла за порог и оглянулась по сторонам, найдя взглядом молодого Назара, казачка не медля ни минуты направилась к нему, чтобы предложить уставшему во время работы хлопцу утолить жажду:

— Ой, Назарчик, смотрю я на тебя, вспотел ты весь под пекучим солнцем, — Евдоха с интересом разглядывала красивого казака. Назар и вправду взмокшел, пот лился с него ручьями. — Я тут тебе узвару принесла, холодненького, — хозяйка протянула полный стакан к уставшему за день работы юноше, — на, выпей, чай полегше будет! — в ее глазах сверкнули озорные искорки. Вспомнила казачка ведьмины слова: «Навек он твой будет!» Не скрывая улыбки Евдоха настойчиво тянула стакан с приворотным зельем тому, о ком мечтала уже столько времени.

— Спасибо, хозяйюшка, — Назар одарил женщину приветливой улыбкой, но брать напиток из рук Евдокии не спешил, — не хочется мне что-то, я опосля выпью, — хлопец вытер рукой мокрый от пота лоб. Он быстро поднял с земли тяжелое бревно и ушел прочь, оставив застывшую от неожиданности казачку. Не успела она опомниться от такой неудачи, как к ней подбежал не высокий плотный мужичек:

— Да вы, хозяйка, не расстраивайтесь, — весело глядя на растерянную женщину сказал он, — Назар не выпил, так я выпью! — не успела Евдоха и слова сказать, а шустрый Прокоп Петрович уже выхватил из ее рук склянку и выпил залпом все содержимое. — Ох, хороший узварец! — казак обтер заливчатски подкрученные кверху усы, — спасибо вам, Евдокиюшка, — мужчина поднял на Евдоху взгляд и остолбенел. — И как это раньше я не замечал, что вы такая красавица! — Прокоп смотрел на хозяйку полными любви глазами. — Да я за вами хоть на край света! — Евдокия тяжело вздохнула и схватившись за голову кинулась в хату, не забыв захлопнуть за собой дверь. Вбежав в комнату она злая на саму себя топнула ногой и тут же в окне увидела влюбленные серые глаза Прокопа Петровича.

Спустя несколько дней Проня с Евдохой сидели за столом. Женщины осушили по чарке горилки и затянули грустную песню.

— Ох, Приська, — прервала затянувшуюся песнь про тяже-

лую бабью долю Евдоха, — что ж мне тепереча делать? — казачка взяла со стола зарумяненный пирожок и с хрустом откусила небольшой кусочек.

— За Гаркушу замуж ступай! — гостья вновь наполнила чарки.

— За Прокопа Петровича? — хозяйка скривилась, явно эта мысль пришлась ей не по душе. Она отложила надкушенный пирог в сторону, — да как же я за него замуж пойду? — женщина отдернула занавеску. За ней, прильнув к самому стеклу, расплылось в чудаковатой улыбке румяное лицо казака. Мужчина с восторгом смотрел в косящие глаза дородной хозяйки, при этом вздыхал и охал. Евдокия задернула занавеску. — Видеть его уже не могу! — она взяла стакан и в один глоток осушила его. Закусив луком казачка немного наморщила нос. — Прокоп ничего не делает целыми днями, только ходит за мной, словно привязанный, да о любви рассказывает, — она махнула рукой, — ну на кой мне такой мужик сдался? — Евдоха протянула Проне пирожок с маком и заискивающе спросила. — Что мне с Назаром делать? Дай совет! — казачка в ожидании застыла, боясь даже глазом моргнуть. Все надеялась, что соседка обязательно что-нибудь придумает. И как оказалось не зря Евдоха на Приську рассчитывала. Та, взяв угощение из рук подруги, потянула длинным носом запах свежей сдобы и задумчиво произнесла:

— Знаю я, соседка, способ один как желаемое получить, — она откусила кусок пирога и тщательно прожевав его продолжила, — мне об этом еще бабка моя рассказывала... — казачка отложила пирожок на тарелку и потянулась рукой к своей стопке.

— Не томи! — Евдокия в нетерпении заерзала на жесткой лавке, — ну! — она выразительно посмотрела на гостью, та сидела с загадочным видом:

— Способ этот не простой. Тут главное не напугаться и не убежать, — нагоняла побольше ужасу на хозяйку Приська. — Стало быть... — она осушила свою чарку, а затем продолжила, — нужно нарезать черного петуха, обпатрать его и зажарить в печи, — Проня взяла с тарелки пирог с маком и откусила кусок побольше.

— Обязательно черного? — удивилась Евдоха.

— Угу... — кивнула ей собеседница, — обязательно черного. Так вот, — она заозиралась по сторонам, убедившись, что в хате больше никого нет, Проня продолжила, — а в полночь ты должна снести этого петуха на кладбище и продать его.

— Кому ж я его на кладбище продам? — Евдокия изумленно округлила глаза, — да еще ночью? — она покрутила пальцем у виска. Приська хищно улыбнулась:

— Да ты не бойся, покупателей много будет! — женщина лукаво подмигнула подруге, — и предлагать за это угощение они многое станут, сулить тебе будут золотые горы, — она подняла указательный палец кверху. — Да только ты обменять свой товар должна на простое железное колечко. А как обменяешь, так сразу домой и вертай, не оборачиваясь, — гостья вновь наполнила чарки. — А уже дома, как наденешь колечко на палец, так желание твое и исполнится! — она весело подняла свой стакан, хотела его ко рту поднести, но остановилась, — да только помни, когда с кладбища возвращаться будешь — не оборачивайся, чтобы позади тебя не происходило! — Проня выразительно взглянула в испуганное лицо подруги. — А то пропадешь!

Оставшись одна Евдокия тяжело вздохнула. Она не знала как ей быть, ведь совет подруги ее действительно напугал. Бросив взгляд в окно она увидела Назара. Молодой казак посмотрел на задумчивую женщину и одарил ее лучезарной улыбкой. Все сомнения тут же исчезли. Казачка не долго думая принялась готовиться к сегодняшней ночи. Она, как ее учила соседка, зажарила черного петуха и аккуратно завернула его в полотенце. Ближе к полуночи Евдоха вышла со двора и направилась на местное кладбище. Она не очень-то верила, что там будет кому продать принесенное ей угощение. «Видать зря я Петьку забила! Хороший петух был!» — пыталась отвлечься этой мыслью Евдокия, чтобы не думать о том, куда она направляется. Но как бы женщина не храбрилась, все же зубы выбивали мелкую дробь. Оказавшись на кладбище казачка осторожно заозиралась по сторонам. Месяц ярко светил в звездном небе, освещая покосившиеся кресты. Вокруг все было тихо, поблизости не было ни души. Вдруг, Евдоха услышала позади себя тихий шепот:

— Для кого петуха несешь, хозяйюшка? — женщина испу-

ганно обернулась и сразу же отшатнулась в сторону. Прямо перед ней, на могильном холме, сидел старый страшный дед. Он тянул костлявые синие руки к полотенцу, в которое был завернут петух. Не дожидаясь ответа дедок вцепился в сверток, его глаза налились кровью, — продай его мне! — старик протянул казачке несколько золотых червонцев.

Евдоха в испуге отступила назад и тут же наткнулась на что-то мягкое. В ужасе она обернулась и встретилась взглядом с огромным косматым волком. Зверь стоял на задних лапах, его глаза светились в темноте желтым светом:

— Продай мне петуха! — обратилось страшное существо к незваной гостье и истошно завывало. Волк протянул когтистую лапу к свертку, — я тебе камней самоцветных дам, целую гору! — с его клыков стекла каплей слюна. Евдокия взвизгнула, ей хотелось все бросить и опрометью кинуться подальше от этого жуткого места, но отступить было нельзя. Со всех сторон ее окружили потусторонние сущности: мертвецы, вурдалаки, упыри... Все тянули к ней когтистые лапы, мертвецкие синие руки, копыта. Со всех сторон доносилось:

— Дай! Дай! Дай! Дай!

У Евдохи голова пошла кругом, не успела она и слова молвить, как к ней подскочила дряхлая беззубая старуха с торчащими в разные стороны спутанными волосами:

— Мне продай, — и протянула казачке красивые бусы из перлов. Следом за старухой появился рогатый череп:

— Продай мне, я тебе хоть месяц, хоть звезды достану!

Евдоха отпрыгнула, она судорожным взглядом искала в толпе того, кто даст ей за петуха простое кольцо, но не находила. Вдруг все смолкли, расступились в разные стороны. Перед казачкой, прямо из могилы высунулась корявая рука, вся в язвах и бородавках. Из под земли послышался приглушенный замогильный голос:

— Продай мне, — в худых пальцах с длинными грязными ногтями блеснуло в лунном свете железное кольцо. Евдокия не раздумывая выхватила из цепких пальцев то, за чем сюда пришла, отдав взамен петуха. Получив желаемое она развернулась спиной к нечисти и бросилась со всех ног с кладбища. Позади себя казачка слышала громкий хлопок, все вокруг задрожало и загудело, послышался вой разъяренной толпы. Что-то большое и неизвестное приближалось к Евдохе. Жен-

щина перепуганно оглянулась, забыв про предупреждение подруги, и тут же земля под ее ногами разверзлась, скрыв в своих недрах казачку. Так и сгинула Евдокия.

На следующее утро на кладбище появилась Проня. Она подняла с земли медное кольцо и надела его себе на палец, ее губы растянулись в довольной улыбке.

Антонина СЫТНИКОВА
«Такие вот сегодня времена...»

* * *

Такие вот сегодня времена,
Апрель — а всё бело от снега.
Не позволяет вырваться из сна
Природе расслабляющая нега
Несобранной и ветреной весны —
Она опять о сроках забывает.
Лишь на коричневом стволе сосны
Дрожит янтарно капелька живая.
И в унисон дрожит моя душа,
Туманные улавливая звуки,
И чувства обновленные спешат
Освободиться из объятий скуки.
Пусть ярится грозная зима,
Созрела удивительная сила.
И, открывая жизни закрома,
Перерождение провозгласила.
И на пороге нового пути
Пульсируют волнующие соки.
Стучит в висках — Пора! Пора идти!
А сроки?.. Разные бывают сроки.

* * *

Ромашковое поле,
Кипенье белых грёз,
Две сотни жирандолей
Горят в тени берёз.

И наполняют светом
Любовь и жизнь мою.
О петом, перепетом
В который раз пою.

О солнце и ромашках
В берёзовом лесу,
О том, что день вчерашний
И завтрашний несут.

О темноте и свете,
Дающем благодать.
О том, что встречный ветер
Попутным может стать.

О вере и безверье.
О поступи Христа
С пробитым подреберьем
Под тяжестью креста,

Когда, сдержаться пытаюсь
Срывающийся стон,
От слабости шатаюсь,
Шёл на Голгофу он.

А тёмная Голгофа
У каждого своя,
И наблюдает строго
Небесный судия.

Ступив на путь исканий,
Дойти бы до конца,
И в жизненном тумане
Не потерять лица.

И, пережив ненастье,
Неотвратимость встреч
Любви, добра и счастья
В своей душе сберечь.

Вновь теплотой наполнить
Заветную мечту
И навсегда запомнить
Природы красоту,

Чтоб, жизнь прожив вразмашку,
Когда подступит смерть,
В прелестную ромашку,
Как в зеркало, смотреть.

АРОМАТ ИРИСОВ

Июньский вечер. Ясная прозрачность
Хрустально светится вдали.
Затих в бездействии поселок дачный
Во влажном мареве земли.
От грядки ирисов струится смутный,
Чуть уловимый аромат.
Он всё сильнее с каждой минутой.
Открылись, видно, закрома,
В которых испокон веков хранились
Насыщенные запахи цветов.
И вот уже совсем не виден ирис —
Лишь аромат один готов
Пронзить собою время и пространство
И в загустевшей темноте
Дарить Вселенной веру в постоянство
Во всей её глубинной полноте.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

На двор, где до этого буйствовал день,
Луч солнца, сверкая, струился по крыше,
Легла мрачно-лиловая тень,
И стало так грустно, как будто бы вышел
За дверь человек бесконечно родной.
Толкнулась тревога — а вдруг не вернется,
И в жизни, теперь совершенно иной,
Останется вечно затмение солнца.

* * *

Летний вечер тихо гаснет
В засыпающем лесу,
Пахнет листьями и счастьем,
Дремлют ветки на весу.

Край берез ласкают нежно
Солнца алые лучи,
Тишина и безмятежность,
Только дятел всё стучит.
Но лениво, монотонно,
Будто нехотя уже,
На тягучем и бездонном
Дня и ночи рубеже.

* * *

Целовались двое на причале.
На волнах дробился свет на части.
И, казалось, в мире нет печали,
Только море, только свет и счастье.
Проплывали мимо силуэты,
Растворяясь в сумраке прибрежном.
И, казалось, вечным будет лето,
Вечны будут искренность и нежность.
Горизонт закручивался туго —
Море с небом навсегда встречались.
Одаряя вечностью друг друга,
Целовались двое на причале.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вставало солнце, заливая
Просторы белым-белым светом,
Стремилась вверх тропа кривая,
Петляя под покровом веток,
Сжимались тени, словно фото,
Упавшее в огонь камина,
Стояла женщина у входа
На пирс. Из параллельных линий
Рос угол, уходящий в море,
Где плавилось, дрожало небо...
Там плавилось и растворялось горе,
Былое превращалось в небыль
И пропадало миражами

В причудливом и ярком танце
Волны, что с радостью бежала
На берег — с женщиной обняться.
Играл подолом легкий ветер,
И женщина, вдаль устремляясь взглядом
И отпуская боль свою навеки,
Всем существом вбирала радость.

* * *

В обыденности видеть красоту
И удивляться совершенству мира,
И воскрешать забытую мечту
Умеешь ты, загадочная Лира.
Струится свет потоками сквозь нас,
Преображая лес, деревья, землю,
И пусть его пока не видит глаз,
Но сердце звуку трепетному внемлет.
Дрожит росинка в чашечке цветка,
В себя вбирая радость отовсюду,
Остановись, случайная рука,
Не разрушай божественное чудо.

Михаил КРАСИКОВ

«Я родственник дождя и ученик травы...»

Поэты спят совсем не так, как дети.
Их сны тревожны, ярки и легки.
И не земшарный — межпланетный ветер
Им обдувает жаркие виски.

Блаженствуют? Поигрывают с Музой?
Да нет, кусают губы от тоски:
И ложь, и правда — всё-то им обуза,
И воли нет — до гробовой доски.

Я родственник дождя и ученик травы,
Смотритель бликов на прибрежных хатках,
Лишь ветер мне указ, а не волна молвы,
Что в этом мире числить настоящим.

Плетению словес плетение древес
Всегда я предпочту, как соловья — артисту,
И что имеет вес, что не имеет вес —
Я ощущаю только в поле чистом.

Покриви душой немножко,
ну, немножко покриви —
и простелется дорожка
в царство Божие любви,
в государевы хоромы,
в светлый терем, райский сад,
на кривой козе объедешь
сто ловушек и засад...

Не узнает и ворожка
да и родный брат —
покриви душой немножко...
по дороге в Ад.

И сном, и духом ведаю о том,
О чем ни сном, ни духом знать не должен.
Ведь все концы находятся в П о т о м,
Бог прошлым балансирует, как лонжей.

Нет смысла лгать — и так мерцает свет,
И Правда в ста личинах притаилась.
И есть ли он — единственный ответ
На вопль немой: что с нами приключилось?!

На всякий товар найдется свой покупатель,
На всякий роток отыщется свой замок.
Любому святому нужен, как воздух, предатель.
Какой пьяндыга себе не давал зарок?

На всякую гнусность гнуснейшая гнусь найдется.
И подлость любую переподлить — фигня!
И только любовь сама собой остается —
Умрет такой же, как в утро первого дня.

Не сотрапезник сатрапов —
попутчик ветров,
по небесному трапу
взлетаю легко.

Затрапезье отбросив,
я беру высоту —
дар от ясеней, сосен —
и расту, и расту!

Прождали жданки все и жданики проели,
Воспоминаний долистали сны...
Все письма журавлями улетели —
Куда, куда? В края какой весны?

Кому — весна, а им зима навеки.
И веки тяжелы с утра — со сна или от грез?
Сиротское житье — не льющиеся реки
Осушенных в душе, заиндевелых слез.

Мольбами вышептана ночь,
А день встречается с опаской.
Одна лишь дума: чем помочь?
Спасти б от пуль любовью, лаской!

Молитв извечная стезя...
Разноязычье, но единство
Душ, умоляющих: н е л ь з я
Стрелять по вере материнской!

Игорь МИХАЙЛИН
Строевой лес и желуди

Масса в критике Дмитрия Писарева

Строевой лес и желуди — для Д. Писарева (1840–1868) это символы, в которых он осмысливал проблему массового и элитарного человека. Желуди — это воплощение массового большинства. Строевой лес — это обозначение для элиты. О соотношении между этими двумя феноменами и пойдет дальше речь в этом этюде.

В предыдущее время этой темы не существовало в историографии о Д. Писареве, ни в трудах о его критике, ни об эстетике, ни о философии, ибо она не была очевидна, более того: была не востребована. Ученых преимущественно интересовала эстетическая платформа автора, революционно-демократическое содержание его творчества, репрезентация в нем нигилизма, лидером которого считается Д. Писарев¹. В историографии щедро представлены документально-художественные произведения о Д. Писареве². Конечно, общим местом в изложении мировоззрения Д. Писарева стало указание на его сочувствие народным массам. Но то уже была без малого ритуальная фигура в риторике советского времени.

И буквально в последнее время интерес к теме массы проснулся, подогреваемый пониманием журналистики как

1. Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х гг. / Л. А. Плоткин. — М.-Л. : АН СССР, 1945. — 245 с.; Димидова Н. В. Писарев / Н. В. Димидова. — М. : Мысль, 1969. — 205 с.; Цыбенко В. А. Мировоззрение Д. И. Писарева. / В. А. Цыбенко. — М. : Изд-во МГУ, 1969. — 308 с.; Кузнецов Ф. Ф. Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово» / Феликс Кузнецов. — М. : Худ. лит., 1983. — 598 с.; Каллер А. И. Этические взгляды Д. И. Писарева / А. И. Каллер. — М. : Высш. шк., 1992. — 103 с.

2. Коротков Ю. Писарев / Ю. Коротков. — М. : Молодая гвардия, 1976. — 368 с. Серия «Жизнь замечательных людей»; С. Лурье. Литератор Писарев : роман / С. Лурье. — Л. : Сов. Списатель, 1987. — 352 с.; Тарасевич И. Примирения нет : повесть о Дмитрие Писареве / Игорь Тарасевич. — М. : Политиздат. — 381 с. Серия «Пламенные революционеры».

массовой информации и коммуникации, влиянием журналистики на формирование массового общества, которое невозможно без массового человека. Актуальность данного исследования состоит в том, что по нашим наблюдениям тема массы в литературной критике Д. Писарева рассматривается впервые.

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ПОНИМАНИИ Д. ПИСАРЕВА

Саму литературную критику Д. Писарев понимал своеобразно. Литературное произведение он воспринимал как аналог действительности; и лишь в этом смысле оно представляло для него ценность. Он анализировал литературное произведение как реальное событие, фрагмент действительности, мастерски отраженный писателем. Это мастерство может быть выше или ниже, но критерий мастерства — это правильность отражения жизни. Литературный герой интересовал Д. Писарева как жизненный тип, настоящий, реальный человек, выведенный автором в своем произведении.

Таким образом, художественная литература предоставляла критику лишь удобный материал для собственных концептуальных построений. Если бы ее не существовало, ему пришлось бы самому сперва создавать сюжеты, картины действительности, образы героев, а потом уже браться за высказывание своей концепции изложенного материала. Художественная литература избавляла его от этого промежуточного занятия. Она предоставляла жизненный материал. Критику оставалось только взять его в готовом виде и построить на его основании свою теорию.

В поздний период творчества он написал большую статью «Борьба за жизнь» (1867) о романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Тут он подробно описал свой критический метод:

«Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе; если эти явления подмечены верно, если сырые факты, составляющие основную ткань романа совершенно правдоподобны, если в романе нет ни клеветы на жизнь, ни фальши-

вой и приторной подкрашенности, ни внутренних несообразностей; одним словом, если в романе действуют и страдают, борются и ошибаются, любят и ненавидят живые люди, носящие на себе печать существующих общественных условий, — то я отношусь к роману так, как я отнесся бы к достоверному изложению действительно случившихся событий; и всматриваюсь и вдумываюсь в эти события, стараюсь понять, каким образом они вытекают одно из другого, стараюсь объяснить себе, насколько они находятся в зависимости от общих условий жизни, и при этом оставляю совершенно в стороне личный взгляд рассказчика, который может передавать факты очень верно и обстоятельно, и объяснять их в высшей степени неудовлетворительно»³.

Из этого высказывания Д. Писарева вытекают три вывода:

1. Художественное произведение воспринимается как зеркало реальной действительности; чем больше правдивых деталей жизни отражено в нем, тем более совершенное и достойное произведение получаем в итоге. Вопрос о художественной ценности созданных писателем картин в этой концепции не стоит.

2. Авторское сознание в критической интерпретации совершенно игнорируется. Вопрос о том, что хотел сказать читателям писатель своим произведением, не ставится. Критика это не интересует. Его интересует только собственная интерпретация материала. Ее он представляет как правдивую и едино правильную, подчеркивая при этом, что автор (писатель) может создать достоверную (правильную) картину действительности, но объяснить ее в высшей степени неудовлетворительно. Критерием неудовлетворительности является позиция литературного критика. Он — господин, хозяин интерпретации художественного произве-

3. Писарев Д. И. Борьба за жизнь // Писарев Д. И. Сочинения : в 4 т. / Писарев. — М. : ГИХЛ, 1956. — Т. 4. — С. 316. Далее все работы Д. И. Писарева цитируются по изданию: Писарев Д. И. Сочинения :: в 4 т. — М. ГИХЛ, 1955–1956. — Т. 1–4 с указанием в тексте после цитаты в квадратных скобках тома и страницы. В тексте будут поданы названия цитированных статей. — И. М.

дения, а сам писатель тут ни при чем.

3. Концепция человека в литературной критике Д. Писарева построена на крайних механических постулатах. Человек воспринимается как результат действия на него «существующих общественных условий»; он не может вырваться за их пределы, а следовательно, не является самостоятельным и независимым актером в театре жизни. Возможно, эту особенность взглядов Д. Писарева на человека подтвердит другое высказывание из этой же статьи: *«Поставьте на место Раскольниково какого-нибудь другого человека обыкновенных размеров, развившегося иначе и смотрящего на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тот же самый результат»* [т. 4, с. 334].

В такой концепции человека следом за автором, упраздненного волей критика, отменяется и человеческая индивидуальность, духовная оправданность человеческого существования. Они становятся несущественными. Зато на уровень культа поднимается позиция литературного критика, которая наделяется правами едино правильной концепции жизни. Образы Базарова, Рахметова, Раскольникова и других героев рассматриваются в статьях Д. Писарева как образы реальных лиц, документально отраженные авторами. Разговор об этих образах — это обсуждение поступков и поведения, мыслей и высказываний якобы реально существующих людей.

Итак, вся литературная критика Д. Писарева — это на самом деле беседа не о художественной литературе, а об отраженной в ней жизни, воспринимаемой как реальная действительность. Возникновение темы массового человека у Д. Писарева выглядит с этой точки зрения совершенно мотивированным. Удивление вызывает другое: русская действительность середины XIX века не давала никаких имманентных оснований для появления этой темы.

2. ДМИТРИЙ ПИСАРЕВ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ХОСЕ ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА

Сегодня понятия массового человека и массового общества (и массовой информации, их обслуживающей) — рядовые темы современной публицистики и науки о социальных коммуникациях. Отцом этой темы в мировом об-

пественном мнении считается испанский философ Х. Ортега-и-Гассет (1883– 1955), всесторонне и понятно представивший ее в книге «Восстание масс» (1929).

В виде очень короткого резюме концепция Х. Ортеги-и-Гассета выглядит следующим образом. Массы стали результатом количественного возрастания народонаселения Европы, продемонстрировав неуклонное действие диалектического закона перехода количества в качество. Большую роль в возникновении масс сыграла журналистика, которая именно в это время (конец XIX – начало XX вв.) превратилась в массовую информацию. Философ указал на технологические и общественно-политические причины в процессе возникновения масс. В первом случае важную роль сыграли повышение уровня комфорта, обеспеченности продуктами питания и предметами быта, которые стали следствием индустриальной революции. В другом случае — завоевания либеральной демократии, утвердившей идею равенства граждан.

Массовому человеку противостоит человек аристократичный, элитарный; однако, у Х. Ортеги-и-Гассета эти понятия лишены классового содержания, а рассматриваются в плоскости общечеловеческих ценностей и характеристик. Массовый человек лишен витальности, внутренней энергии; он вполне доволен сущим, даже не задумывается, откуда взялись блага цивилизации, воспринимает их, как дикарь природу; он совершенно доволен собой и не мечтает о каких бы то ни было реформах и трансформациях. На интеллектуальном уровне масса не способна к выработке собственных идей, а лишь пользуется уже готовыми формулами; она лишена способности мыслить. Если же взять область морали, то массовый человек просто обходится без нее; его интересы не поднимаются над уровнем желудка, сытости, собственного кармана; интересы народа, общества, государства — это не его пространство; ему чужды понятия долга, чести, ответственности.

Озабоченность Х. Ортеги-и-Гассета вызвало не само существование массы, а ее восстание. Благодаря всеобщему избирательному праву, которое для нее добыла в борьбе элита, массовый человек пришел к власти. На место руко-

водителей государств он стал избирать не далекого от него аристократа духа, а удобную и понятную для себя посредственность. По мысли Х. Ортеги, общество двинулось к дегенерации.

Такую концепцию сформулировал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в 1929 году.

А вот что писал Д. Писарев в статье «Базаров», которая была опубликована впервые в 1862 году в мартовском номере журнала «Русский вестник».

Как понятно из заглавия, он анализирует образ главного героя романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Естественно автор считает его «новым человеком», общественным лидером. Базаров представляет ту часть общества, которая не удовлетворена действительным положением вещей и стремится изменить общественную жизнь к лучшему. За такими людьми будущее, их интересы совпадают с интересами общества, для которого они и работают неутомимо. В этом месте, чтобы противопоставить Базарова пассивному большинству Д. Писарев и обратился к характеристике массы.

Да, отметил критик, реформаторы всегда составляли в обществе абсолютное меньшинство. Большинство составляла масса. «Масса во всякое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем, что было налицо» [т. 2, с. 15]. Только какое-нибудь стихийное или общественное бедствие может вывести массу из равновесия и нарушить «сонливо-безмятежный процесс ее прозябания» [т. 2, с. 15]. Масса состоит из тех сотен тысяч неделимых, которые никогда не пользовались своим умом как орудием самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обдeldывает свои делишки, получает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе «крупных», многообъемлющих вопросов, никогда не мучаясь сомнениями, не испытывает ни раздражения, ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не совершает ни открытий, ни преступлений, за нее думают и страдают другие люди, чуждые ей, но работающие для увеличения удобств ее жизни.

Эта масса — желудок человечества. Она живет на всем готовом, не спрашивая, откуда оно взялось, не внося ни полушки в сокровищницу человеческой мысли.

Люди массы в России учатся, служат, развлекаются, жеманятся, плодят детей, они совершенно довольны своей жизнью, собою, средой и не желают никаких усовершенствований, не подозревают никаких других путей и направлений. Они держатся порядка по инерции, а не по выбору. Измените порядок, и они тут же приспособятся к нему. Сегодня масса ездит по гадким проселочным дорогам и мирит с этим, а завтра пересядет в железнодорожные вагоны и будет восхищаться быстротой движения и удобствами путешествия.

Эта инерция, способность во всем соглашаться и со всеми уживаться составляет, возможно, драгоценное приобретение человечества. Убожество мысли уравнивается скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума на то, чтобы улучшить свое положение, может оставаться счастливым только в том случае, когда он не понимает и не ощущает ужаса своего состояния. Жизнь человека ограниченного протекает ровнее, чем человека одаренного. Умные люди не мирятся с теми явлениями, к которым без труда привыкает масса.

После характеристики человека массы Д. Писарев написал: «Итак, мои выводы. Человек массы живет по установленной норме, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что он родился в известное время, в известном городе или селе. Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована принятыми предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом его же не преjdeши», и он живет и умирает, не проявив своей личной воли и часто даже не заподозрив в себе ее существования» [т. 2, с. 20].

Далее Д. Писарев предложил типологию человека разумного, возвышающегося по уровню ума над массой. К *первому типу* принадлежат люди, которые не получили необходимого образования. Их неудовлетворенность бесцвет-

ной жизнью массы не находит проявления, остается на уровне инстинктивного отторжения, они остаются в пустом пространстве, которое ничем не могут заполнить. К *другому типу* принадлежат люди умные, но нерешительные; они все время оглядываются вокруг, страшась, пойдет ли за ними общество; они имеют идеал, но не умеют найти к нему путь. Их мечты остаются на словах, но не воплощаются в дело; у них мир мысли отделен от мира жизни. *Третий тип* составляют люди, идущие дальше — они осознают свою непохожесть на массу и смело отделяются от нее поступками, нравами, способом жизни. Им все равно, пойдет ли за ними общество, они самодостаточны, наполнены своей внутренней жизнью. «Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной osobности и самостоятельности» [т. 2, с. 21].

О чем свидетельствует приведенная нами позиция Д. Писарева? Он не коснулся выразительно только одного параметра характеристики массы, предложенной Х. Ортегой-и-Гассетом, а именно: ее отношения к нравственности. Другие же две характеристики: инертность и недостаточность умственного развития — представлены достаточно полно и убедительно.

Совершенно однозначно следует отметить: для Д. Писарева масса — это не только низы общества, трудовой народ. Более того, к народу применить это понятие в этом месте он не решился. Понятие массы использовано здесь для характеристики окружающей его среды, в которой он вращался в Петербурге. А это разночинцы, образованная часть общества, преимущественно выходцы из дворянства и духовенства. Возникновение концепции массы в статье Д. Писарева в 1862 году следует считать интеллектуальной сенсацией. По существу, при отсутствии массы критик дал ей достаточно глубокую характеристику. Последующие его статьи свидетельствуют о том, что это был не случайный мотив в его творчестве, на который он наткнулся неожиданно и никогда впредь к нему не возвращался. Наоборот, он обращался к нему во многих статьях, превратив его едва ли не в свою любимую тему. И это понятно: без решения проблемы массы рассчитывать на изменение обществен-

ного строя или трансформацию общественной жизни в России было невозможно.

3. «ВАМ НУЖЕН СТРОЕВОЙ ЛЕС, А У ВАС В РУКАХ МЕРА ЖЕЛУДЕЙ»

Было бы бессмысленно ожидать, чтобы концепции массового человека у Х. Ортеги-и-Гассета и у Д. Писарева совершенно совпадали. Да и так никогда не бывает на рынке идей, духовных ценностей. Далее начинаются существенные различия. Для Х. Ортеги возникновение и господство массы тождественно общественной катастрофе. Он эту катастрофу видит, она уже наступила. Но философ не мыслит путей ее преодоления. Он не знает, как бороться с массой, и изображает дело так, будто бы масса пришла навсегда, ее доминирование — это новое состояние общества. И тут ничем не поможешь.

Д. Писарев, наоборот, считает массу временным явлением, результатом действия на человека губительных общественных отношений. В преобладающем большинстве высказываний критик говорит о том, что массой становятся, как правило, «голодные и раздетые люди» [т. 3, с. 105]. Мы выхватили сейчас это высказывание из статьи «Реалисты» (1864), но образ голодных и раздетых людей — знаковый, типический, семантический для всего творчества этого автора. Он много раз использовал его и в других статьях и исследованиях.

В статье «Очерки по истории труда» (1863) Д. Писарев отметил:

«Наблюдать и осмыслять свой труд могут только немногие единицы; эти единицы одарены сильным умом, но их так мало не оттого, что на известную полосу земли отпускается такое количество ума, а оттого, что отпускаемое количество расходуется самым нерасчетливым образом. Умные и полезные люди составляют редкие исключения, между тем, как они должны были бы составлять правило.»

Я не намерен отнимать у великих гениев ни одного вершка их роста, но с полным убеждением выражаю ту

мысль, что они стоят так неизмеримо высоко над общим уровнем человечества только потому, что неблагоприятные обстоятельства довели этот общий уровень до неестественно низкой ступени» [т. 2, с. 241].

Таким образом, для Х. Ортеги-и-Гассета появление массы имеет общечеловеческие основания; для Д. Писарева — социальные, классовые. Ее причина в имущественном неравенстве людей, в эксплуатации труда, в бедности преобладающего большинства народонаселения. Труд он считал единственным источником приумножения общественного продукта.

Почему мы все-таки отметили: «в преобладающем большинстве высказываний»? Потому что Д. Писарев так окончательно и не определился в этом вопросе. Скажем больше: похоже на то, что разочарование в возможности преодолеть массу нарастало в сознании Д. Писарева к концу его короткой жизни. В одной из последних своих статей «Наши усыпители» (1867) у него вырвалось: «Масса бедна и лишена умственной деятельности» [т. 4, с. 250]. Это афористическое и категорическое утверждение исключает предположение о том, что массу можно преодолеть. Но в предыдущем творчестве Д. Писарев создал теорию преодоления массы.

Эта теория привязана к условиям русской жизни. В конце концов, было бы удивительным, если бы Д. Писарев писал о чем-то другом. Его литературная критика, как бы своеобразно не понимал он ее задачи, рождалась в условиях русской действительности и служила целям ее трансформации. Логично допустить, что именно русская жизнь и дала Д. Писареву основания утверждать о временном характере массы как общественного явления. Россия была страной сплошной неграмотности, темноты, рабства. Критик болезненно воспринимал ее отсталость от европейской цивилизации. В статье «Бедная русская мысль» (1862) он писал:

«Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впе-

реди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали» [т. 2, с. 66].

Через два года в статье «Реалисты» критик с нескрывае-
мой болью описал состояние труда в России:

«Заниматься с любовью материальным трудом — это в настоящее время почти невысказано, а в России, при наших допотопных приемах и орудиях работы, еще более невысказано, чем во всяком другом цивилизованном обществе. Таким образом, самый реальный труд, приносящий самую осязательную и неоспоримую пользу, остается вне области реализма, вне области практического разума, в тех подвалах общественного разума, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли. Что ж нам делать с этими подвалами? Покуда приходится оставить их в покое и обратиться к явлениям умственного труда, который только в том случае может считаться позволительным и полезным, когда прямо или косвенно клонится к созиданию новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы» [т. 3, с. 68].

Современное состояние России Д. Писарев высказал в убедительном образе: «Вам нужен строевой лес, а под руками у вас мера желудей» [т. 3, с. 69]. Логика Д. Писарева: вам не обходимо построить корабль, а у вас нет на это дерева (строевого леса), есть только желуди, которые еще необходимо посадить и старательно за ними ухаживать до тех пор, пока из них не вырастут необходимой толщины дубы, которые могут пойти на строевой лес. Желудей у вас не воз, не сундук, а всего на всего мера; то есть, их очень мало; чтобы хватило на корабль после первого посева. Возможно, таких посевов придется производить несколько, чтобы получить нужное количество древесины. Но все равно следует сеять, «потому что бездействие и бессмысленная суетня действуют на человека самым опошляющим образом» [т. 3, с. 69]. Следовательно, по Д. Писареву, необходимо действовать при любых обстоятельствах, идти вперед, несмотря на рытвины на дороге. Тем более, что поле для деятельности он представлял себе более чем конкретно.

Что это было за поле? Для него оно вмещалось в одном концепте — образование.

Д. Писарев считал, что нет такого состояния в действительности, в котором нельзя использовать образование для усовершенствования общества, его нравственности, нравов. Это ресурс, который всегда доступен и эффективен. Само образование понималось критиком широко — это все, что приводит человека к расширению его знаний о мире и обществе. В русском языке для такой деятельности используется два слова «образование» и «просвещение». Первое употребляется для видовой характеристики. Второе обозначает одно из направлений первого.

Образование как «просвещение» не вызывает особенно-го энтузиазма у критика. По очень простой причине: в России образование зиждется на государственной основе, оно не является предметом частной инициативы, поставлено под контроль государства на уровне содержания образования и на уровне надзора за поведением и способом мышления учащихся. Потому рассуждения Д. Писарева на тему просвещения ограничены. Наиболее интересны тут две идеи.

Идея первая. Д. Писарев отметил, что наиболее активных представителей «голодных и раздетых» в России воспитывает бурса. Бурса — это начальная духовная школа, в отличие от средней — духовной семинарии и высшей — духовной академии. Вместе с тем, это наиболее массовый тип учебного заведения. Он охватывает самое большое количество учеников. В статье «Наши усыпители» (1867) Д. Писарев объяснил: в России бурса стала рассадником свободомыслия; и далее:

«в этих именно учреждениях крайняя бедность встречается с умственной деятельностью. Бурсаки очень бедны, беднее всех других обучающихся в России юношей, и при этом они, однако же, имеют возможность и желание читать серьезные книги. Этого совершенно достаточно, чтобы приготовить самое полное торжество отрицательных идей во всех духовных училищах. Дело в том, что отрицательным идеям, и только им одним, безраздельно принадлежит будущее» [т. 4, с. 250].

Итак, бурса изображена как реальный способ преодоления такого временного явления, как массовый человек.

Бурса собирает учеников из слоев «голодных и раздетых» и прививает им вкус к чтению, стремление к умственному росту. Придя в бурсу представителями массового человека, они имеют все возможности выйти из нее бунтарями, носителями отрицательных идей, пополнить ряды базаровых и рахметовых.

Идея вторая. Д. Писарев осознал, что идеи распространяются не прямым путем, а через ряд опосредований. Трудящиеся слои не способны непосредственно воспринять теории современной философии, политэкономии и сложности естественных наук. Им нужен посредник, который растолкует им высокие идеи, просто и доступно изложит содержание сложных учений. В качестве такового Д. Писареву виделись образованные классы общества.

В статье «Реалисты» Д. Писарев призывал:

«Надо увеличить число мыслящих людей в тех классах общества, которые называются образованными. В этом вся задача. В этом альфа и омега общественного прогресса. Если вы хотите образовать народ, возвышайте уровень образования в цивилизованном обществе» [т. 3, с. 123].

Д. Писарев преувеличивал возможности образования. Он и тут мыслил механически, считал, что количество вложенного труда обязательно даст пропорциональные результаты. Стоит только просветить эксплуататора, и он изменится, прекратит грабить рабочих, станет их покровителем. Сегодня невозможно без удивления читать такое, например, наивное рассуждение критика: «Дайте капиталисту полное, прочное, чисто человеческое образование — и тот же самый капиталист сделается — не благодетельным филантропом, а мыслящим и расчетливым руководителем народного труда, то есть таким человеком, который во сто раз полезнее всякого филантропа» [т. 3, с. 125]. И немного далее ход мысли таков: человек любого происхождения ощутит наслаждение от умственного труда, «поймет, что быть превосходным общественным деятелем приятнее, чем извлекать из своего капитала какие бы то ни было жидовские проценты» [т. 3, с. 126].

Перед образованием Д. Писарев видит (ставит) две за-

дачи: 1) разбудить общественное мнение (об этом мы по-толкуем далее подробнее) и 2) сформировать мыслящих руководителей народного труда. Выполнение этих задач будет означать «открыть трудящемуся большинству дорогу к широкому и плодотворному умственному развитию. А чтобы выполнить эти две задачи, (...) надо действовать исключительно на образованные классы» [т. 3, с. 126]. И к завершению этой мысли — афоризм: «Судьба народа решается не в народных школах, а в университетах» [т. 3, с. 126].

Университеты должны дать тех посредников между массой и высшими идеями и достижениями цивилизации, которые необходимо усвоить массам для того, чтобы собственно перестать быть ими, а претвориться в сознательных, активных работников человечества.

Вместе с тем, Д. Писарев не воздержался, чтобы не высказать свой взгляд на просвещение, исходя из опыта студента Санкт-Петербургского университета: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распроставшись навсегда со своими школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий» [т. 3, с. 127].

Таким образом Д. Писарев завершил рассмотрение первого значения категории образования и перешел ко второму. В его интерпретации критик исходит из того же своего краеугольного представления, в соответствии с которым масса — явление временное, достаточно потрудиться надлежащим образом в нужном направлении — и ее удастся преодолеть.

Второе направление образования связано с последним дополнением идеи просвещения: настоящее образование — это самообразование. На этом направлении определяющую роль играют книги, журналы и газеты.

4. ЖУРНАЛИСТИКА, БЕЛЛЕТРИСТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Рассматривая вопросы самообразования, Д. Писарев увидел в нем три составляющие, объединив их вокруг трех концептуальных понятий, которые мы вынесли в заглавие этого параграфа.

Итак, первая из них — журналистика.

Если в просвещении доминирует государство, то область книгоиздания и журналистики — это пространство частной инициативы. Настоящий талант не подчиняется политической власти. Творчество не может протекать под полицейским надзором. Творчество — это область свободы и вне ее существовать не может, потому Д. Писарев в статье «Реалисты» возносит значение журналистики.

Из всех областей знания «до сих пор наше общество создало своими собственными силами только одну журналистику, которая действительно возникла, развилась и держится независимо от всяких посторонних влияний. И в самом деле журналистика в лице своих даровитейших представителей всегда служила самым добросовестным образом умственным потребностям общества. Такая предварительная деятельность совершенно необходима» [т. 3, с. 79].

Цель журналистики — развитие образованных классов, предоставление уже образованным гражданам новых знаний для их самообразования и умственного роста. При чем для Д. Писарева развитие образованных классов — это не конечная, самодостаточная цель. Настоящая цель — освобождение «голодных и раздетых». Поэтому он далее так развивает свою мысль: образованные классы, приобретая запас свежей энергии и новые умственные силы, отправляют этот запас «вниз по течению, в то живое море, в которое рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления» [т. 3, с. 98].

Следовательно, конечной целью деятельности образованных классов Д. Писарев провозгласил все-таки ликвидацию массы, освобождение народа. Хоть как далеко пребывает он, народ, от благ цивилизации и от культурных достояний человечества, но двигаться все равно необходимо, нужно сажать «меру желудей», надеясь хотя бы в далеком будущем получить «строевой лес».

Проблема вторая — беллетристика.

В системе знаний Д. Писарев отдавал преимущество науке как прямому носителю мысли, передовых идей. Но с распространением идей и мыслей возникали трудности.

Преимущественное большинство даже образованных людей не были способны воспринять их непосредственно. Выход из этой ситуации Д. Писарев видел в развитии художественной литературы, которая и питает общество этими идеями, привлекает к ним публику, вызывает к ним интерес.

Развернув дискуссию о том, нужна ли литература и не достаточно ли одной науки, Д. Писарев завершил ее такими рассуждениями:

«Мы твердо убеждены в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне, Гете, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином и Ляйелем. — Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, как близкое знакомство с величайшими умами человечества, к какой бы отдельной области знания или творчества не относилась деятельность этих первоклассных представителей нашей породы» [т. 3, с. 105].

Мысль об использовании литературы для распространения мировых теорий и идей беспокоила Д. Писарева и в дальнейшем. Он время от времени возвращался к ней. Наиболее основательно он обсудил ее в статье «Образованная топа» (1867), где отметил, что беллетристика (так он назвал художественную литературу) находит себе наибольшее число читателей в таком обществе, в котором низок уровень знаний и умственного развития. По Д. Писареву, Россия соответствовала этим характеристикам. О ней он и писал в этой статье. У нас, отметил он, существует большой разрыв между теми читателями, которые читают научные труды, и теми, которые читают беллетристику.

«Одна беллетристика и с нею вместе ее неразлучная спутница, литературная критика, могут пускать в обращение такие идеи, которые для пользы и успешного развития нации должны становиться общим достоянием всей человеческой массы. Только беллетристика и литературная критика могут указывать обществу на те многочисленные пробелы, которые бросаются в глаза

каждому мыслящему наблюдателю в так называемом общем образовании. Пополнять эти пробелы — дело строгой науки. Но направить внимание общества на те пункты, где необходимы знания и где их не имеется в наличности, — это может делать только самая распространенная и общедоступная отрасль литературы» [т. 4, с. 279].

В этом высказывании примечательно то, что рядом с художественной литературой в деле повышения уровня знаний в обществе поставлена и литературная критика. Она занимает промежуточное положение между литературой и наукой, формулируя для рядового читателя ведущие идеи эпохи, представленные в беллетристике.

Проблема третья — общественное мнение.

Книги, газеты и журналы выполняют огромной важности дело — формируют общественное мнение, ставшее могучей силой современности. В развитии целостного учения об общественном мнении Д. Писарев — также предшественник Х. Ортеги-и-Гассета. Испанский философ не уставал повторять, что вопрос власти — это вопрос общественного мнения. Во власти можно только сидеть, на штыках сидеть невозможно. Никто в мире не правил иначе, нежели опираясь на общественное мнение.

По Д. Писареву, общественное мнение принадлежит массе, выражает взгляды массового большинства, но создает его для нее элита, интеллектуальное меньшинство. По наблюдениям критика, общественное мнение как явление жизни родилось на рубеже XVII и XVIII веков. Его родоначальником был Вольтер. Он превратил литературу во влиятельную силу, с которой должны были считаться государи. Личности этого французского писателя Д. Писарев уделил значительное внимание:

«Чтобы составить себе понятие о громадных заслугах Вольтера, надо судить его не как мыслителя, а как практического деятеля, как самого ловкого из всех существовавших до сих пор публицистов и агитаторов. Вольтер особенно велик не теми идеями, которые он развивал в своих книгах и брошюрах, а тем впечатлением, которое он производил на своих современников этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатления Воль-

тер сделал Европе такой подарок, которого цена растет до сих пор и будет увеличиваться постоянно с каждым столетием. Вольтер подарил Европе общественное мнение. Он целым рядом самых наглядных примеров показал европейским обществам, что их судьба находится в их собственных руках и что им стоит только размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрению всем ходом исторических событий, крупных и мелких, внешних и внутренних. Вольтер открыл европейским обществам тайну их собственного могущества» [т. 4, с. 165].

Появление и усиление влияния журналистики создало совершенно новую ситуацию. В XVIII веке чтение уже стало жгучей необходимостью для тех классов общества, которые определяли судьбы народов. Книги, журналы, газеты создали между тысячами и десятками тысяч индивидуальных умов такую тесную и крепкую связь, которая до того времени была невозможна и немыслима. Д. Писарев привел красноречивое высказывание члена английского парламента Данверза, которое нам стоит повторить:

«Я думаю, — говорил политик, — Великобританиею управляет власть, о верховном преобладании которой до сих пор не было слышно ни в какой век, ни в какой стране. Власть эта не состоит в неограниченной воле одного государя, ни в силе войска, ни во влиянии духовенства, — это и не власть юбок; это власть печати. Материалы, которыми наполняются наши еженедельные газеты, читаются с большим уважением, чем акты парламента; а мнение каждого из этих писак имеет в глазах толпы больше значения, чем мнение лучших политических людей королевства» [т. 4, с. 151].

Д. Писарев отметил, что эти слова прозвучали в 1738 году, а Г. Т. Бокль считал, что это наиболее раннее указание на возникшую власть печати, которая впервые во всемирной истории сделалась выразительницей общественного мнения. А что такое общество? — спрашивал Д. Писарев и отвечал: — «вы, я, наши братья и сестры, дяди и тетки, отцы и матери, родственники и знакомые, родственники родственников и знакомые знакомых и так далее — вот

вам и общество. Каждый из нас порознь слабее первого встречного полисмена. Но все мы вместе непобедимы и неотразимы» [т. 4, с. 167].

Так Д. Писарев формировал у русского читателя понимание огромного веса в жизни общественного мнения. Опять-таки — вопреки реалиям русский действительности, где оттачивались механизмы подавления общественного мнения. Российское государство было заинтересовано в том, чтобы его в России совсем не существовало.

5. ВМЕСТО ВЫВОДОВ, ИЛИ «МОЖЕТ БЫТЬ, СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ СОВЕЕМ НЕ ТАК НЕИЗМЕРИМО ДАЛЕКО...»

Таким образом, второе направление образования у Д. Писарева, представленное самообразованием, обеспечивается книгами и журналистикой. Они не только создаются в пределах частной инициативы, но и используется также в пределах и по доброй воле каждого человека. По Д. Писареву, это наипростейший путь преодолеть барьер массового человека и войти в число элиты, развить свой ум для восприятия всемирных идей. По Д. Писареву, этот урок возможен для каждого человека, без каких-либо исключений или ограничений. Отметим попутно, что Х. Ортега-и-Гассет живет уже в ту эпоху, когда стало понятно, что при помощи (даже внедрения всеобщего) образования преодолеть массового человека не удалось. Отсюда его пессимизм.

Д. Писарев же создал для себя удобную и успокоительную картину: массовый человек — явление временное в истории человечества, причины массового человека — в социальном положении большинства народонаселения; накормив голодных и одев раздетых, можно легко устранить из общественной иерархии и массового человека. Метод его устранения — образование, состоящее из двух уровней: просвещения и последующего самообразования. В самообразовании важнейшую роль играют книги и журналистика. Особенно в последний исторический период, возросла роль журналистики, которая возложила на себя миссию творца и представителя общественного мнения; общественное мнение — это огромный рычаг контроля обще-

ства за власть. Развитие могущества общественного мнения вырвет власть у государства и передаст ее обществу, которое будет управляться как саморегулирующийся организм при помощи самоуправления. Понятно, что это общество будет состоять уже не из массы, а из самодостаточных индивидуумов.

Критик закрыл глаза на главное противоречие своего учения. Назвав одну из своих программных статей «Образованная толпа» (1867), он обязан был признать, что такое явление возможно. Возможно существование толпы в самом образованном классе. Сколько не предоставляй новых знаний определенной категории людей, они, знания, останутся неусвоенными, эти люди и впредь будут жить своими примитивными интересами и удовлетворять низменные потребности. Но если на эту проблему обратить внимание и отнестись к ней серьезно, то концепция русского критика рассыплется как карточный домик. Потому он эту очевидность не замечает, совершенно игнорирует.

В литературной критике Д. Писарева отсутствует понятие лишнего человека⁴. Вместо него появляется другое понятие — человека нового. Стоит отметить, что роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» имел подзаголовок «Из рассказов о новых людях». О роли и значении этого произведения в истории русской мысли говорить не приходится. Примечательно и то, что Н. Г. Чернышевский употребил это понятие во множественном числе «о новых людях», подчеркнув, что это не единичное явление, а имеющее тенденцию к распространению и утверждению в русской жизни.

Новому человеку посвящены наиболее выдающиеся статьи Д. Писарева «Базаров» (1862) и «Реалисты» (1864), которые мы щедро цитировали в своем исследовании. Новый человек для Д. Писарева — это прорыв в мире массы, утраченное звено, связующее прошлое с будущим через на-

4. Нет, конечно же, в статье «Пушкин и Белинский» (1865) Д. Писарев рассматривает образ Евгения Онегина, но в этом месте статья превращается в литературный фельетон, главная проблема романа Пушкина сведена к тому, что Евгений и Татьяна не одновременно влюбились друг в друга; Пушкин и его герой высмеяны с позиций реализма (в понимании Д. Писарева) и прагматизма.

стоящее. Для нового человека Д. Писарев придумал и новое название — «Мыслящий пролетариат», назвав так свою статью 1865 года. Публиковалась эта статья в журнале «Русское слово» под названием «Новый тип» и лишь для прижизненного собрания сочинений критика была переименована.

Очередное противоречие: с одной стороны, автор признавал, что толпа (масса) может быть образованной, с другой стороны, признавал, что и пролетариат (масса) может быть мыслящим. Но Д. Писарев удобно для себя обошел противоречия в своих концептуальных построениях, игнорирует их.

Новый человек в статье «Мыслящий пролетариат» охарактеризован следующим образом:

«Основные особенности нового типа, о которых я говорил до сих пор, могут быть сформулированы в трех главных положениях, находящихся в самой тесной связи между собой.

I. Новые люди пристрастились к общеплезному труду.

II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены хроническою враждою против остальных людей.

А все это вместе может быть выражено еще проще: новыми людьми называются работники, любящие работу. Значит, и злиться на них нечего» [т. 4, с. 25].

Воспринимая человека как совокупность общественных отношений, в которых он существует и которые формируют его мировоззрение, отношение к окружающему, легко представить, что положительные примеры будут поощрять массу присоединяться к образованному сословию, а из него прямым ходом следовать в круг элиты. И уже Д. Писарев и сам сомневается в своем видении русского народа как «меры желудей», которые еще нужно посеять и столетие ждать появления «строеного леса». Если в русской жизни есть базаровы, рахметовы, лопуховы, кирсановы и веры павловны, то почему бы не взлелеять надежду, что их круг

расширится в будущем и будет расширяться до тех. пор, пока все не станут такими, как они. *«А если эти явления действительно существуют, — размечтался Д. Писарев, — то, может быть, светлое будущее соеет не так неизмеримо далеко, как мы привыкли думать»* [т. 4, с. 49].

Заслуги Д. Писарева: удивительно уже то, что он «вышел» на тему массового человека вначале 1860-х годов; удивительно, что Х. Ортега-и-Гассет едва ли не через семьдесят лет повторил отдельные, но наиболее плодотворные идеи Д. Писарева. При чем, наиболее очевидно то, что испанский философ не знал работ русского критика. Х. Ортега-и-Гассет подчеркивал, что для него Европа — это Германия, Франция и Англия. Невероятно допустить, что он мог читать Д. Писарева. Удивительно то, что Д. Писарев создал оригинальную концепцию массового человека, не растерялся перед его возможным нашествием, а предложил приемлемый и убедительный для своего времени способ его преодоления. А того, что его чаяния утопичны, он знать еще не мог. Несмотря на внутренние противоречия, которые мы видим в его взглядах из дня сегодняшнего, он довел свою концепцию до логического завершения, предложив русской интеллигенции продуктивный путь ее собственного развития и труда для народа.

Биографические справки

ДЕРИЗЕМЛЯ Евгения Михайловна родилась в 1984 г. в семье военнослужащего. Экономист. Писать начала в 2014 г. Финалистка международных литературных конкурсов «Книга 2014», «Осенний полет фантазии 2014», победительница всеукраинского литературного конкурса (3 место) «Возрождение» в номинации «Проза 2016». Публиковалась в альманахах, журналах, сборниках Украины и России.

Живет в г. Кременчуг.

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах. Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого.

Живёт в г. Харькове.

КРАСИКОВ Михаил Михайлович родился 16 сентября 1959 г. в Харькове. Окончил филологический факультет ХГУ. Доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры НТУ «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея ХПИ «Слобожанські скарби». Автор около 300 научных публикаций и свыше 20 книг. Является организатором и соорганизатором ряда культурных акций, участник Чичибабинских фестивалей поэзии, фестивалей «Гилея», «Каштановый дом» и др.

Живет в г. Харькове.

КУЛИШКИН Георгий Семёнович родился в Харькове (1950). Среднюю школу закончил в Куряжской трудовой колонии для несовершеннолетних. Работал сапожником, служил в армии. С отличием закончил вечернее отделение ХГУ (филфак). По его первой книге «Ближе к рублю» (Москва, Молодая гвардия, 1989) был поставлен художественный фильм. В настоящее время один из учредителей и главный редактор литературного альманаха «РХ».

Живет в г. Харькове.

ЛУКИН Антон Евгеньевич родился 2 декабря 1985 г. в с. Дивеево Нижегородская обл. Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», «Дальний восток», «Литература» и др. Лауреат премии

им. Андрея Платонова «Умное сердце» и Всероссийской премии «Золотой Дельви́г» (2012). Включался в Лонг-лист премии «Ясная поляна» (2014). Член Союза писателей России (2015).

Живёт в с. Дивеево (Нижегородская обл.).

МИХАЙЛИН Игорь Леонидович родился в 1953 г. в Харькове. Окончил Харьковский государственный университет им.М.Горького (1976), в котором работает, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор 345 научных и научно-популярных работ, учебников по журналистике. Член Национального союза писателей Украины. Почетный гражданин г. Мерефы (Харьковский р-н, с 1997).

Живет в г. Мерефа (Харьковская обл.).

СЫТНИКОВА Антонина Семеновна родилась в Сумской обл. в 1955 г. Окончила ХПИ. Работала на Орловском сталепрокатном заводе инженером-электронщиком. Публикуется с 1993 г. в местной и региональной прессе, в альманахах, журналах, коллективных сборниках. Член Международного союза писателей и мастеров искусств.

Живёт в Орле.

ТАРАНЕНКО Ольга Степановна родилась 28 января 1957 в г. Дергачи (Харьковская обл.) Окончила Харьковский государственный университет им. М. Горького. Автор поэтических сборников: «Вересень», «Простой сюжет», «Частный сектор». Член НСПУ (1994).

Живет в г. Харькове.

ШЕЛКОВЫЙ Сергей Константинович родился 21 июля 1947 в г. Львове. Поэт, эссеист, литературный критик. Закончил инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института (1971) и аспирантуру при нем. С 1973 г. публикует литературные произведения. Член Союза писателей СССР и Союза писателей Украины (1989), Международной ассоциации писателей и публицистов (2006). Автор более 20 книг стихотворений и прозы. Публиковался в Украине, России, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Дании, Израиле, Латвии, США, на Кипре и др. Член жюри Международного фестиваля русской поэзии «Эмигрантская лира» (Бельгия). Награды: Международный орден Святого Станислава — за вклад в литературу и культуру; премия им. Б. Слуцкого (2000); премия им. Н. Ушакова (2001); международная премия им. Ю. Долгорукого (2007)

Живёт в г. Харькове.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Леонид МАЧУЛИН. «Усе те не наше, що нас покидає...»	3
--	---

ПОЭЗИЯ

Римма КАТАЕВА. «Не хотел волновать Бога...»	5
Сергей ШЕЛКОВЫЙ. «Жизнь оказалась щедро, странно длинной...»	41
Ольга ТАРАНЕНКО. «Муравським шляхом до Сквороди...»	85
Антонина СЫТНИКОВА «Такие вот сегодня времена...» ...	107
Михаил КРАСИКОВ. «Я родственник дождя и ученик травы...»	112

ПРОЗА

Георгий КУЛИШКИН.	
Томаськино счастье	14
Дезидарата	24
Еда	27
Жменя	29
Антон ЛУКИН. Беседы при ночной луне	51
Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ. Засватанная	92

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Игорь МИХАЙЛИН. Строевой лес и желуди.....	115
--	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА	136
-----------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№33

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.06.2017. Формат 70x108 1/16.
Бумага офсет. Печать офсет. Гарнитура PragmaticaCond СТТ.
Уч.-изд. л. 14,70. Изд. №4. Зак. №__. Тир. 300 экз.

Учредитель: ООО «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
e-mail: editor2016@ukr.net
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
Свидетельство о госрегистрации: сер. ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331